

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



ЛЮДИ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Свидетельские показания соучастника

*Разберёмся во всём, что видели,
Что случилось, что стало в стране.
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.*

Сергей Есенин

Осенью 1986 года, после шести лет работы в Казахстане корреспондентом “Известий” меня перевели в Москву. Я стал заместителем редактора газеты “Известия” по отделу Советов.

Сказать, что я очень сильно рвался сюда, не могу. Ну, перевели и перевели, хорошо. Правда, были два обстоятельства, которые радовали. Во-первых, я оказывался вместе со всей своей охотничье-рыбацкой компанией, и не надо было теперь придумывать нам, как меня вызвать из Казахстана на охоту или на рыбалку. И во-вторых, давняя мечта, давний замысел – заиметь дом в деревне с землёй. Все это потом реализовывалось.

Но сначала я хотел бы рассказать о подступах к журналистике и о первых шагах в ней.

Глава 1 Зигзаги судьбы

Дневную школу я оставил после 7-го класса. Мой товарищ, который учился в механическом техникуме, уговорил пойти туда. “Будешь знать всё – от часов... (в этот момент мимо нас, пыля, проехал грузовик) и до машины”. Учёба в новом заведении мне очень не понравилась. Мать, уходя на работу,

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович род. в 1938 году в г. Сталинграде (ныне Волгоград). Наш постоянный автор. В разные годы в журнале публиковались роман “Крик совы перед концом сезона” (о разрушении Советского Союза), повести “Холера”, “Слуга закона Вдовин” и другие, а так же целый ряд рассказов.

думала, что я следом поеду в техникум. Но я, доехав до него, проходил мимо и шёл к обрывистому берегу Волги. Там были заросли кустарника, засохший бурьян с прогалинами, где жировали певчие птички: чижи, щеглы, вьюрки. Я ловил их сеткой, сажал в клетку и возвращался домой. Вскоре матери и бабушке стало ясно, что я не учусь, а балбесничаю.

С подачи другого товарища, Шурея, я поступил на металлургический завод “Красный Октябрь”. Работа в цехе металлургических печей временами была очень тяжёлой и нудной. Я смотрел на своих старших товарищей и думал: неужели мне всю жизнь придётся так же в валенках, подшитых резиной от автомобильных шин, разгребать ещё не остывшую обрушенную мартеновскую печь, спускаться глубоко под землю, чтобы загрузить большую бадью спёкшимися кирпичами?

Я пришёл в вечернюю школу. Сказал про техникум. По моему страстному виду поняли, что я очень хочу учиться. Приняли в 9-й класс с испытанием. Я его закончил почти на одни пятёрки. С 10-м было проще.

После вечерней школы в Сталинграде я трижды отправлялся поступать в вузы. И всё – в Ленинград. И всё – на крыльях своих увлечений. Сначала – ядерной физикой. Потом – астрономией. Но крыльям не хватало знаний, и я, понуро-заносчивый, возвращался домой.

Родня ворчала: всё какие-то ему “ниверситеты” нужны, вон в Сталинграде какие институты – пед, мед, сельхоз, горхоз (институт инженеров городского хозяйства). Но меня тянуло к другому.

На третий год я снова поехал в Ленинград, в университет. Теперь уже на отделение журналистики филологического факультета. Теперь я знал, куда надо мне идти обязательно.

Писать я начал уже несколько лет назад. Ну, как писать? Сочинять стихи всякие, сопливые какие-то, на мой взгляд, не очень хорошие. И хотя однажды в сталинградском литобъединении при газете “Молодой ленинец” местный поэт Юрий Окунев, руководитель этого объединения, публично сказал обо мне настолько высокие слова, что я и сейчас их не решаюсь повторить, тем не менее то, что я делал, было, на мой взгляд, так себе. Хотя очень тянуло. И даже что-то было напечатано в “Молодом ленинце”.

Но почему я решил пойти на журналистику? После второго провала я поехал в геологическую экспедицию. Мы должны были искать так называемый инертный материал, то есть песок. И искать бурением вручную. Это когда над землёй выстраивается деревянный помост, через него пропускается труба, на конце которой привинчивается труба большего диаметра, так называемая желонка. Внизу у неё язык. И когда люди ударяют трубой в землю, земля или что там находится захватывается языком, и с трубой поднимают это наверх. Нас было четверо: по два человека с каждой стороны.

Сначала всё шло легко. Но чем глубже, тем труднее было поднимать эту трубу, труднее было отрывать её от той глубинной сути. А там пошла глина. И мы поднимали так, что трещали хребты.

Однажды начальство заставило нас работать в воскресенье. Я возмутился и уговорил ребят не выходить. Мы не вышли. А один штрейкбрехер вышел. Ну, мы его слегка поколотили. Он пошёл жаловаться в милицию. А мне уже надоедало быть здесь: работа неинтересная, да и жизнь даже мне, неизбалованному, была диковатой. Нас разделили по двое на квартиры к старухе-матери и её дочери лет сорока пяти. Мать кормила ребят более-менее прилично, а наша хозяйка варила нам макароны с солёной килькой из банок. Я сел на товарный поезд и поехал в Ленинград. А располагалась наша экспедиция в Мгинском районе Ленинградской области. Город Мга, районный центр, я называл “Мгла”, потому что в районе, где мы работали (станция Малукса), не было даже электричества. Я сел на остановившийся ненадолго товарняк и поехал в Ленинград. И вот тут произошло то, что потом меня привело к третьему поступлению в университет. Состав нёсся среди зелёных лесов, густых зелёных лесов. До площадки, где я стоял, долетал дым паровоза. Налетали леса. И меня так стало распирать желание рассказать о всех своих чувствах людям, о красоте лесов, о горьковатом, но волнующем запахе дыма, о тонко-голубом небе, которое, будто прозрачная крыша, накрывало этот зелёный тоннель, – словом, обо всём, что во мне кипело. Домой я приехал с ещё бóльшим, чем раньше, желанием писать. Так я поступил на отделение журналистики, которое вскоре стало факультетом.

О хлебе насущном и хлебе познаний

В университет я пришёл со знаниями весьма скудными. Да и какие они могли быть у парня, который с 16 лет начал работать сначала на металлургическом заводе “Красный Октябрь”, а затем монтажником в тресте “Продмонтаж”, который и школу-то заканчивал рабочей молодёжи. Семья была самая простая: бабушка и мать, работавшая гардеробщицей в небольшом кафе. С отцом они разошлись в моём раннем возрасте. Говорят, по вине бабки, о чём я вскользь написал в повести “Разговор по душам с товарищем Сталиным”. Домашней библиотеки, конечно, не было, так — несколько книг. Но читать я любил. Нравились Чехов, Джек Лондон, О’Генри. В 56-м году отец подарил большой сборник стихов Есенина, которые сильно потрясли меня. Остальные познания были скудны.

Не сказать, что все мои новые товарищи в университете сильно отличались от меня. Нас на курсе было человек тридцать: чуть больше половины — в английской группе, остальные — в нашей немецкой. Большинство — также из простых семей. Правда, некоторые тем не менее были пообразованнее меня. И уж слишком выделялись человека два-три. Особенно один парень, старше большинства из нас, я так думаю, из какой-нибудь профессорской семьи. Он был тем, кого называют “рафинированный интеллигент”. Худощавое бледное лицо, не знающее загара, длинные тонкие пальцы пианиста, внимательные и почему-то часто грустные светлые глаза. Звали его Женя, а вот фамилию, к сожалению, забыл. От него я впервые услышал фамилии писателей Средневековья, он негромко, но интересно рассказывал о жизни и творчестве Александра Дюма, Мопассана, некоторых других зарубежных классиков. Но главное давалось на лекциях и в книгах. В моих познаниях зияли пустоты. Однако я, как губка, впитывал всё больший и больший объём сведений. Почти всё было интересно. Даже незнакомый мне раньше предмет о древнерусской литературе с её былинами и летописями — их вдохновенно по памяти читал старичок-профессор, который, казалось мне, сам когда-то, ещё молодым, сидел в келье рядом с древним летописцем. Также без труда впитывался памятью “старославянский” язык. Его преподавал симпатичный молодой человек в строгом костюме-тройке, с тихим голосом, называвший чудные буквы “юс малый”, “юс большой” и образуемые странными буквами непонятные современному слушателю слова. Одну из витиеватых букв я громко назвал “глист в обмороке”, заслужив укоризненный взгляд фанатичного преподавателя. Изучение этого языка помогло мне впоследствии довольно легко читать надписи на иконах и даже тексты старинных книг, одну из которых я нашёл через несколько лет в Кандалакше, в разрушенной избе на берегу Белого моря. Как голодный человек набрасывается на хлеб насущный, так и я накидывался на новые предметы, содержащие хлеб познаний. Не известные мне ранее имена писателей и драматургов, от Древнего мира до Средневековья, произведения западной литературы минувших столетий и современности, работы классиков философии, книги по логике и психологии, особенно русская литература, — всё это наполняло сознание и открывало глаза в ранее неведомое. Помню, много раз приходил я в ленинградскую публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, раскрывал под зелёным абажуром настольной лампы толстенную книгу с интригующим названием: “Физиогномика”. В советское время она не выходила — считалась реакционной. Была дореволюционного издания. Что-то в ней казалось надуманным и смешным. Например, “Черты лица дворника”. Или “Лицо казнокрада”. Однако многое было интересным. Начитавшись про облики разных людей, я уже в курилке библиотеки пытался понять, у кого какой характер, как отпечаталась на лице жизнь и кто есть кто. В дальнейшем, надо сказать, хлеб познаний из книги “Физиогномика” не раз давал пищу уму и помогал в жизни.

Правда, добывание хлеба насущного держало всё время эту жизнь в тонусе. Бывали дни, когда едой являлись только бесплатная капуста и такой же хлеб да стакан горячего чая в студенческой столовой “Академичке”. Тощая стипендия разлеталась мгновенно, а помощь из дома была очень скромной. Мать, как я уже говорил, работала гардеробщицей в небольшом кафе, зарплату имела маленькую. Что она могла прислать? Иногда подбрасывал денег отец, но тоже немного: зарплата небольшая, а семья — несколько человек. Как говорится: спасение голодающих — дело рук самих голодающих. Многие

из нас, живущих в общежитии, работали по ночам. Я, например, одно время на заводе штамповал пластмассовые корпуса для электробритв “Нева”. Потом был сторожем в автобусном парке на Васильевском острове, который образовали на месте какого-то снесённого поселения. Заступал вечером и дежурил до утра. Работал через день. Сторожкой был оставшийся от селения домик об одну комнату. Автопарк был большой. К вечеру машины заполняли территорию. Я ходил между ними и слушал, как “отдыхают” отработавшие день автобусы. Они то поскрипывали, то как будто вздыхали, то с тихим шорохом осаживались на колёсах. Иногда ко мне в сторожку заходили шофёры. “Парень, дай посидеть с кондукторшей”. Я понимал, в чём дело, и уходил в расположенный неподалёку длинный дощатый склад. Двери его не закрывались. Видимо, то, что находилось внутри, не считалось ценностью. А там лежала гора дореволюционных газет, журналов “Нива” за 1913 год. Я садился на эту кучу и забывал обо всём, листая журналы, пока в сарай не заглядывал шофёр: “Спасибо, парень. Мы там тебе кое-что оставили”.

Однажды вчетвером подрядились разгружать большой пульмановский вагон с цементом. Цемент был не в мешках, а насыпан через люк вверху. Машина встала вплотную к вагону, мы приоткрыли его двери и начали лопатами выгружать цемент. Постепенно входили в вагон, выбирая сначала середину насыпанного, затем расходясь направо и влево. Это был ад. Цементная пыль туманом стояла в вагоне, раздувалась, когда лопатами бросали в кузов машины. Вдобавок ко всему цемент, оказалось, засыпали горячим, и в глубинах вагона было видно, что он раскалённо-красный. Начали мы днём, а закончили ночью. Получили деньги и, пропылённые снаружи и внутри, пошли в общежитие. Долго отмывались, неделю отхаркивались. Я написал рассказ с несколько возвышенным названием “Может, будут они великими”. Об этом адовом труде, о той радости, с какой получили небольшие деньги. Закончил словами: “Ну, теперь наедемся”. Послал в журнал “Юность”. Оттуда пришло письмо: “Рассказ берём. Только переделайте концовку. Ребята работали, чтобы купить апельсины и отнести их знакомой студентке в больницу”. Я плюнул. “Тебя бы туда”, – подумал об авторе письма. Ничего переделывать не стал. Так и потерялся где-то этот рассказ.

Постепенно пробовал зарабатывать деньги как журналист. Некоторое время писал в журнал для слепых. Однажды руководитель нашей немецкой группы Николай Петрович Емельянов – мускулистый телом и лицом, с крупным острым носом, весёлыми глазами и редковолосьем на голове – сказал мне, что какая-то газета с Севера просит дать репортаж об очередном меховом аукционе, который должен проходить в Ленинграде. Почему он выбрал меня, не знаю. Может, потому, что я добровольно съездил на практику в Мурманск, что пытался уже пробовать себя в журналистике. Репортаж должен быть короткий, ибо отправлять его надо по телеграфу за свои деньги. Вот уж где я учился сокращать самого себя.

“Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич...”

Мы довольно быстро выросли не только в смысле образованности, но и политически. Атмосфера в стране после развенчания Хрущёвым культа личности Сталина поначалу задышала свободой и раскованностью. Появилась новая архитектура, символизирующая открытость, – кафе с большими окнами от потолка до пола, где люди сидели, как в аквариумах, дома без так называемых “архитектурных излишеств” сталинской эпохи, переполненные залы слушателей поэзии новых молодых авторов: Евтушенко, Вознесенского, Рождественского... Но Хрущёва сразу после его “воцарения” очень многие в стране воспринимали критически. Мой отец и приезжающие к нему в гости его боевые товарищи по Волховскому фронту называли Хрущёва негодяем и “кукурузной башкой”. Это из-за развенчания Сталина. А из-за того, что Хрущёв отнял у народа облигации займов, его кляли устно и графически. Я сам видел на стенах заводских туалетов, когда работал на “Красном Октябре”, такие рисунки: пузатый Хрущёв в шляпе бежит с мешком за спиной в заросли кукурузы. А из мешка торчат облигации займов.

Газеты, журналы и телевидение прославляли Хрущёва, его всё новые абсурдные решения вроде ликвидации личных подсобных хозяйств, вырубки садов, образования Совнархозов, создания в одной области двух обкомов

партии: по промышленности и по сельскому хозяйству. Без умолку трещали о росте благосостояния народа, однако в действительности происходило иначе. Работая на практике в республиканской газете “Советская Мордовия”, мы с местными писателями угощали друг друга не папиросами и сигаретами, а махоркой: другого курева не было. Вернувшись в Ленинград, я узнал, что в магазинах начались перебои с хлебом, что рабочие на заводах роптали по этому поводу. Как ни глушили старательно сведения о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, слухи об этом расползались.

Мы, студенты, не оставались в стороне от того, что происходило повсюду. На наших товарищеских посиделках я активно возмущался шараханиями лидера партии из одной крайности в другую, быстро набирающим силу новым культом личности нового вождя. Газеты запестрели обращениями: “Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич!” Началось прославление “Великого десятилетия Хрущёва”.

Однажды куратор группы Николай Петрович дал всем задание написать рецензии на какое-нибудь выбранное произведение. Это было после выхода в конце 62-го года солженицынского рассказа “Один день Ивана Денисовича”. Я выбрал для рецензии именно его и написал, что в репрессиях и создании культа личности Сталина виноваты в том числе те, кто сейчас у власти. Я не помню сути всей рецензии. Зато перед глазами до сих пор крупная, карандашом, двойка и резкая оценка Емельянова, смысл которой: ты ничего не понимаешь в политике; нельзя так необдуманно судить о людях, тем более о руководителях, и т. д. и т. п. Насколько я понимал Николая Петровича, это были не его слова. Кого он спасал? Меня, покусившегося на блеск нового светила? Или себя, не воспитавшего у студента хитрой предосторожности клопа, вылезавшего лишь тогда, когда безопасно?

Я продолжал неободрительно высказываться о Хрущёве в кругу своих товарищей и через какое-то время стал чувствовать как бы повышенный интерес к себе. Но не со стороны ребят – там всё было нормально, а от кого-то другого. Например, я однажды узнал, что под эгидой Арктического и Антарктического научно-исследовательского института готовится экспедиция на Северный Ледовитый океан. Съездил в институт. Договорился, что меня возьмут простым рабочим, – интересно было увидеть неведомые места, неизвестный мир. В университете уже собирался взять на год академический отпуск. Участвовал даже в отгрузке ящиков с продуктами, в том числе с моей любимой сгущёнкой. И вдруг мне говорят: не поедешь. В чём дело? Почему? Место ясны – какие-то мутные толкования.

Мне даже стало казаться, что мои письма от родственников вскрываются. То есть информация обо мне уходила куда надо. От кого? Лишь потом мы, сопоставив разные факты и наблюдения, определили “стукача” в нашей группе. Это был простой деревенский парень с какой-то помятой физиономией, с металлической “фиксой” во рту. В комнате общежития ходил в трусах до колен и сбившейся набок мятой майке.

Но однажды я сделал шаг, который не нуждался в информации от “стукача”. 22 ноября 1963 года в США, в Далласе, среди бела дня выстрелом из снайперской винтовки был убит американский президент Джон Кеннеди. Телевидение показывало взрыв негодования американцев, реакцию людей в разных странах, убитую горем его жену Жаклин. Невозможно было спокойно глядеть на эту красавицу, для которой, казалось, рухнул весь мир. Я пошёл на почту, взял бланк телеграммы, написал слова соболезнования и отправил послание в Москву, в посольство США. Для передачи Жаклин Кеннеди.

Думаю, этот порыв усилил внимание ко мне определённых структур, что стало проявляться в разных формах.

Однако всё это начало пониматься позднее. Однажды в аудиторию, где шло занятие всего курса, вошла секретарша декана и громко сказала: “Щепоткин! В деканат!”

Я вошёл в кабинет декана. Там, кроме него, сидел какой-то молодой человек лет тридцати. “Вячеслав Иванович?” – “Да”, – подтвердил я. “Меня зовут Сергей Сергеевич. Пройдёмте со мной”.

Мы сели в машину. Она привезла нас на Литейный проспект в Управление КГБ по Ленинграду. Зашли в кабинет. Сергей Сергеевич сел за стол, на стене за спиной – портрет Дзержинского, перед глазами – портрет Хрущёва.

“Вячеслав Иванович, в чём вы не согласны с политикой Коммунистической партии Советского Союза?” Я немного закаменел: если верить хрущёвскому докладу о репрессиях, тянуло на серьёзное обвинение. Тем не менее я взял себя в руки и сказал: “Я не согласен с политикой Первого секретаря Центрального Комитета партии товарища Хрущёва Никиты Сергеевича”. — “А в чём вы не согласны?” Я начал говорить о несоответствии хвалебных пропагандистских материалов реальной жизни, которая становилась всё хуже. Например, в Ярославле, как писал мне мой товарищ, людей стали кормить китовым мясом, а в Ленинграде появились очереди за белым хлебом. О создании нового культа — культа личности Хрущёва. О неумном, на мой взгляд, запрете держать сельским жителям подсобное хозяйство. О мало реальной задаче построить в СССР к 1980 году коммунистическое общество.

Сергей Сергеевич внимательно слушал, иногда что-то переспрашивал. Потом попросил изложить всё это на бумаге. Я написал, не зная, что будет дальше. Меня снова посадили в машину. Повезли. Я почему-то был спокоен. Привезли в университет.

После этой ситуации у меня была ещё одна история, связанная с Хрущёвым. Но уже как с бывшим главой страны. 5 декабря 1964 года, в день Конституции, которая была известна как сталинская, в нашем общежитии произошла драка африканских студентов с нашими ребятами. Негры жестоко избили двоих парней. Одного били до сотрясения мозга, а второго свалили и начали выдавливать глаза. Общежитие забурлило. Возмущение поведением африканских студентов уже давно переливалось через край. Они вели себя вызывающе, нагло. Могли кого-то побить, оскорбить девчат. Некоторых девиц легко покупали за тряпки. Мы собрались в нашей комнате, стали бурно обсуждать события. Я предложил написать письмо в Москву. Согласились. Но куда и кому? Два месяца назад Хрущёва сняли. Я в это время был на практике в Таджикистане, в республиканской газете. И сам видел, с каким рвением и удовольствием снимал со стенки завхоз редакции портрет Хрущёва. Всем уже надоел этот волонтарист. Вместо него Первым секретарём ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев. Я предложил написать ему. Ребята поддержали. Я писал о том, что во всех нормальных государствах приезжающие в страну иностранцы неукоснительно соблюдают её законы. Только у нас получается по-другому. Африканские студенты нарушают общественный порядок, хулиганят, даже совершают преступления, но им всё прощают. Это делается якобы в интересах дружбы народов. Мы не хотим иметь таких друзей, для которых законы Советского Союза — ничто. Просим Вас, Леонид Ильич, поручить соответствующим ведомствам и руководителям на местах навести порядок с соблюдением иностранными студентами советских законов.

Ребята письмо одобрили. А кто-то сказал, что завтра в общежитии намечается собрание с обсуждением недавнего происшествия. Мне говорят: “Вот где надо зачитать письмо и собрать подписи. Давай, Слава! Раз уж ты начал, ты и продолжай”.

В нашем общежитии был зал для общих собраний. Я не помню, чтобы там когда-нибудь собирались люди. Но происшествие с избиванием двоих студентов так возбудило университет, что к нам повалили ребята из других общежитий и даже те, кто жил в городе. Помещение было довольно большое. Однако людей собралось так много, что заняты были не только места для сидения, но и проходы, и подоконники. Я вышел на сцену. Поглядел на зал. В первых рядах сидели люди явно нестуденческого возраста. Мне говорили: будут представители Ленинградского обкома комсомола, обкома партии. Мы догадывались, что придут и работники КГБ. Единственно, чего не знали, что придут функционеры из Москвы. Однако приехали: событие оказалось чрезвычайное — впервые, не знаю, за сколько лет вдруг взбудоражилось студенчество. Но представители властей рассчитывали, что погорланит молодёжь, выпустит пар, и всё этим закончится. Однако, видимо, никто, кроме прикрепленных сотрудников КГБ, не знал, что будет ещё письмо. Поэтому, когда я стал его читать, в зале наступила гробовая тишина: такого никто не ожидал.

Я прочитал письмо и сказал: “Кто хочет, может поставить свою подпись”, — и передал текст с прикрепленными чистыми листами стоящим у трибуны ребятам. Пока письмо ходило по рядам, на сцену взбирались один за другим ораторы. Кто-то сказал, что не надо обращаться в Москву, тем более к Первому секретарю ЦК партии. Сами разберёмся у себя в Ленинграде.

Но на него заорали, затопали ногами, и больше уже никто такого не предлагал. Выскакивали на сцену, чтобы прокричать гневные слова о распоясавшихся иностранцах. Наконец, письмо вернулось ко мне на сцену. Я посмотрел на заполненные подписями листы и громко сказал, перекрывая шум зала: “Надо выбрать доверенных людей, чтобы отвезли письмо в Москву. Отправлять почтой нельзя”. “Щепоткина! Щепоткина! — раздались голоса. — Тебя послать!”

Это не входило в мои планы. Впервые в жизни я купил путёвку в дом отдыха — студенческую, самую дешёвую, и должен был через два дня уезжать. А тут предстояло дело, которое неизвестно, чем закончится. “Ходоков” выбрали. Они съездили. Не помню деталей, но, кажется, негры, а они буянили больше всех, притихли.

Такой разный Север

После университета я выбрал небольшой городок на юге Мурманской области — Кандалакшу. Населения немного. Газета маленького формата и выходит всего три раза в неделю. Я думал, времени она у меня не будет много отнимать, а всё остальное — литературе. Ибо я уже начал писать какие-то рассказы, которые порастерял, и находить даже их не хочется.

На Севере я был уже второй раз. Тем более именно в Мурманской области. После выхода в 1962 году фильма “Путь к причалу” я был так поражён и потрясён им, героями, песней, которая там звучала, что в первые же зимние каникулы взял гитару, чемодан и поехал в Мурманск. Нашёл редакцию газеты “Полярная правда”, поднялся в приёмную редактора, представился секретарше. Она говорит: “Ну, сидите. Выйдет Иван Иванович, он будет решать”. Через некоторое время из кабинета с надписью “Редактор” вышел статный, симпатичный человек с абсолютно седыми волосами, но моложавым лицом и приветливым взглядом. Он поглядел на меня, потом на гитару в чехле, на чемодан и спрашивает: “Вы кто?” Я встал и говорю: “Студент-журналист Вячеслав Щепоткин. Приехал на практику”. Редактор газеты Иван Иванович Портнягин, о котором я говорю, с удивлением посмотрел на секретаршу: “А мы разве заказывали на практику кого-то?” Она говорит: “Нет”. — “А я добровольно, Иван Иванович, — отпрапортовал я. — Во время каникул”. Он улыбнулся и говорит: “Ладно, пусть идёт в отдел промышленности, там с ним будут работать”.

Самый крупный из северных городов Мурманск и поразил, и удивил. Там я впервые услышал слово “бич”. И ранними утрами в кафе люди пили шампанское, не лимонад, а шампанское. Там машины шли в тоннелях из снега, ибо брустверы по краям были выше машин. Там солнца, пока находился в Мурманске, я не видел ни разу. Поэтому приезд в Кандалакшу, которая на самом юге области, был как бы продолжением моего северного присутствия.

Мои надежды, что времени газета займёт не много, были поверхностными и, наверное, для другого человека, для другой природы. На первой же “летучке”, когда мне поручили сделать недельный обзор газеты, я начал не с заметок. Я сказал: “Товарищи, давайте поглядим на себя, как мы выглядим. Вот приходят к нам люди, смотрят на нас с уважением. Ведь мы же — элита города. Нас всего семь человек в 60-тысячном городе. А как мы выглядим? Вот Григорий Соломонович Рубинштейн”.

Григорий Соломонович, старый, умный, интересный еврей, с напряжённой улыбкой уставился на меня. Большая голова с редкими остатками волос тоже, казалось, напряглась. Но я продолжал: “Вот Григорий Соломонович. Как он одет? Пиджак какой-то мятый, значок об окончании высшего учебного заведения, так называемый “поплавок”, не вертикально стоит, а горизонтально, мятые брюки, какие-то растоптанные башмаки. Или Пётр Павлович Пюненнен, заведующий отделом писем. В какой-то затрапезной куртяшке. А ведь вы все небедные люди. У вас в шкафах, наверняка, висит по несколько костюмов, отличные рубашки. Мы должны подавать пример людям не только словом, но и внешним видом”.

После этого я перешёл к газете и, конечно, со свойственной мне тогда горячностью потоптался на ней. Да и было там, на чём потоптаться.

На следующий день все пришли одетые, как будто на праздник: хорошие костюмы, рубашки с галстуком, всё выглажено, причёсаны, выбриты. А через несколько дней я созвонился с базой райпотребсоюза и договорился, чтобы

редакции продали только что поступившие туда и вообще только что появившиеся в стране нейлоновые финские рубашки. Нам их продали. Кто-то пошёл ещё и купил обувь. В общем, внешний вид моих коллег изменился.

Но на этом моя спокойная жизнь, казалось бы, оборвалась вообще. Где-то через месяц-полтора в газете появилось объявление, которое я составил, о том, что при газете “Кандалакшский коммунист” начинает работу школа журналистики, все желающие могут приходиться на первое занятие. Народу пришло человек 25, не меньше. Возраст — от 16 до 60 лет. Я начал рассказывать о жанрах, что и как писать. То есть примерно стал повторять то, что нам говорили некоторые наши преподаватели, не работавшие ни дня в газете. Хотя в отличие от них, я в газетах уже поработал. Каждый раз перед каникулами я сдавал досрочно экзамены, договаривался с куратором нашей группы Николаем Петровичем Емельяновым о том, что приеду позднее, и два-два с половиной, а то и три месяца работал в газетах. В Мордовии — в республиканской газете, в Бурятии — в республиканской газете, в Таджикистане — тоже в республиканской газете. Некоторые мои товарищи, как только наступали каникулы, ехали или к родителям повидаться, или, уж самые “уставшие”, в дома отдыха. Меня они с недоумением спрашивали: “Куда тебя, старик, несёт?” Ну, “старикам” было в основном по двадцать с небольшим лет, и потому хотелось солидности. Я отвечал: “Ребята, не ждите, когда из нас сделают журналистов. Мы должны сами делаться ими”. Они уезжали отдыхать, а я — работать в газету. Для дипломной работы тоже поехал в Ростов-на-Дону, в областную газету “Молот”. Кстати, диплом у меня, одного на курсе, был творческий — серия очерков: “Люди вокруг нас”.

К слову сказать, с Ростовом у меня связаны два рассказа и скандальный очерк. У него такая предыстория. Мне поручили написать материал о девушках, которые переехали из небольшого городка работать на село. Было начало весны. Всё таяло, в Ростове уже появились первые привозные мимозы. Но в полях ещё лежал снег. Из городка в хутор меня повёз райкомовский кучер на санях. Я завернулся в тулуп, подставил солнцу лицо и начал представлять себе этих девушек, разговоры с ними.

В хуторе нашёл одну из них. Её звали Галя. С нею обошли остальных троих, договорились, у кого встретимся вечером. А до этого решили зайти в клуб — я хотел посмотреть, как развлекается молодёжь.

В клубе уже играла музыка. В углах стояли девчонки и девушки постарше. Отдельно кучковались парни. Две пары танцевали. Моя соседка смотрела на них с завистливой улыбкой. Вдруг она как-то сразу перестала улыбаться, сжалась и поглядела на вход. Там появился невысокий, толстоватый, с рыхлой физиономией парень. Когда он проходил мимо нас, Галя как будто усохла, мне даже показалось, поклонилась ему и заискивающе проговорила: “Здрасьте, Алексан Иванович”. — “Здорово”, — буркнул тот. “Вы, может, приведёте Алёнку? Поди, соскучилась по мамке... И я по ней...” — “Посмотрим”. Оказалось, девочку забрала свекровь. У родителей мужа был большой дом, большое хозяйство, а Галя, переехав из городка, смогла купить глинобитную развалюху. Свекровь сразу невзлюбила нищую невестку и всячески отталкивала от своего дома. Заявила, что “внучка наша, а ты никто”. Поэтому приходилось выпрашивать свидания.

Мы вышли из клуба. Туман, который от теплыни начал подниматься ещё днём, теперь загустел так, что, отойдя от клуба шагов на десять, я с трудом мог разглядеть лампочку над входом. Пахло сырým снегом, оттаивающим на дороге конским навозом, ещё чем-то неуловимым, деревенским.

Для разговора мы собрались в хатёнке Веры, по возрасту такой же, как остальные, но, чувствовалось, более уважаемой. Я купил в хуторском магазине большую бутылку вина — “огнетушитель”, какой-то закуски. Вера и девчата принесли свои деликатесы, которые в студенческой жизни я редко ел: солёные огурцы, маринованные помидоры, квашеную капусту.

В разговоре я постепенно узнавал их судьбы. Девчата, действительно, когда-то по комсомольским путёвкам поехали из города на село. Но жизнь оказалась не такой, какую они представляли. В том числе замужняя. У Галины властная свекровь-казачка настроила безвольного сына и отобрала девочку. Галина видела дочку от случая к случаю. Надя — худенькая, белокрытая женщина — потеряла мужа вскоре после свадьбы: его посадили за изнасилование. У Лидии — четвёртой бывшей горожанки — муж уехал на заработки

куда-то в Сибирь и пока возвращаться не собирался. Лидия жила у его родителей и была под строгим присмотром. Только у Веры муж должен скоро вернуться из армии. Она брала на руки дочку и говорила мне: “Вылитый отец!” Подруги согласно кивали.

Я веселил девчат анекдотами, которых тогда знал тьму, рассказывал о себе. Уже Вера дочку уложила и стала ей напевать колыбельную, которую я слышал впервые и старался запомнить, чтобы потом вставить в очерк, а мы всё говорили “за жизнь”. Никто из них на неё особо не жаловался. Наоборот, высказывали надежды на перемены к лучшему, ссылались на разные примеры, когда у кого-то было, “хоть в петлю лезь, а потом всё наладилось”. Ну, бывает непогода в жизни или вот как сейчас, туман на улице, но разве это навсегда?

Мы разошлись под утро, и я в сопровождении троих пошёл искать двор, где на ночлег остановился мой возница. Пока мы ходили, туман, в самом деле, как ни странно, стал редеть, рассеиваться.

Я написал очерк. Назвал его: “В тумане”. Отдал заведующему сельхозотделом. Не думал, что он вызовет такую реакцию. Очерк стала обсуждать редколлегия. А коллектив, как в большинстве крупных провинциальных газет, был в основном пожилой: люди цепко держались за свои места. И вот все выступающие стали высказываться против публикации. “Это что ж такое? – говорили члены редколлегии. – Выходит, вся наша советская молодёжь живёт в тумане? У неё нет впереди ничего светлого?”

Я пытался сказать, что речь идёт не обо всей советской молодёжи, здесь судьбы нескольких конкретных людей, но мои слова не имели никакого значения. И тут встал такой же немолодой, как и другие, член редколлегии. Поскольку шум уже был довольно сильный, он громко и, чувствовалось, с волнением закричал: “Не слушай их, Слава! Пиши так же и дальше! Джека Лондона тоже сначала не признавали! Потом узнали, что он великий писатель!” К сожалению, я забыл фамилию этого великодушного человека. Но очерк был включён в мой творческий диплом, а спустя время я опубликовал его как рассказ. Впрочем, в основе всех моих рассказов лежат реальные события и судьбы реальных людей.

Но вернусь к Кандалакше и школе журналистики, которую организовал. Рассказав слушателям – будущим возможным коллегам – о жанрах, о газетных требованиях, я сказал: кто из вас, где работает, посмотрите, что вокруг вас интересного, о чём вы могли бы рассказать своим товарищам как об удивительном и хорошем.

И началась моя колгота. Каждый день кто-то приходил, что-то приносил. Я сидел с ними до позднего вечера, разбирая, показывая, как надо написать, как должно быть. Не все выдерживали и постепенно отсеивались. Однако несколько человек стали нашими постоянными авторами. А двое – Игорь Павлихин и Надя Миронюк – вышли в профессиональные журналисты. Они поступили в Ленинградский университет на факультет журналистики, который окончил сам. Статьи говоря, я и ездил даже туда представлять их. После окончания Игорь Павлихин поехал работать в газету на Дальний Восток, а Надя Миронюк, по-моему, где-то на телевидении.

Мне становилось всё более тесно в рамках этой газеты. Я говорил коллегам: “Ну, что мы рассказываем всё о Кандалакше, о её пригороде. Почему не познакомиться наших читателей с жизнью других районов области?” Коллеги меня поддержали, сказали: “Давай, поезжай”. Я съездил в село Ловозеро – это место, где живёт издавна народ саамы (дореволюционное название “лопари”). Познакомился с интересными людьми. Написал о них.

Потом поехал на Терское побережье. “Терский берег” – очень необычное для Севера название. Один старик-помор, отвечая на мой вопрос, почему он так называется, стал объяснять: “Ну, ты же знаешь, где-то на Кавказе есть река Терек. Приехали оттуда люди, по ней и назвали”. Лишь потом я узнал, что это от норвежского слова “трэ” – лесистая местность. Ибо на Кольском полуострове тайга, благодаря Гольфстриму, поднимается так высоко, как нигде больше на Земном шаре.

Я съездил в этот район, побывал в очень старинном селе Варзуга, которому в то время уже исполнилось около 500 лет. Спустился на резиновой лодке по бурной порожистой реке Варзуге. И впоследствии описал её, как и город Кандалакшу, в повести “Слуга закона Вдовин”.

Меня всё время тянуло куда-то, хотелось что-то рассказать интересное. Шло строительство автодороги Ленинград – Мурманск, которую я назвал “дорога к Снежной королеве” в одном из материалов. Делал репортажи из кабины электровоза и считал высокой оценкой, когда шёл по улице, а идущие по другой стороне ребята-машинисты кричали: “Слава, читали твой репортаж. Пойдем пива выпьем”.

Жизнь у меня закипела. И вдруг приходит однажды секретарь парторганизации Михаил Зинов и говорит: “Вот пришла разнарядка на награды”. А тогда в Советском Союзе к каждому юбилею то ли области, то ли страны шла волна наградений. И вот эта волна докатилась до Мурманской области. Он назвал кого-то из города и говорит: “А у нас награждается Спилов Сергей Капитонович, редактор газеты”. Спрашиваю: “За что?” Зинов смотрит в бумажку. “За воспитание молодых журналистов, за творческую работу, за творческий подход к созданию газеты”. Я говорю: “Миша, ты что рассказываешь анекдоты? Разве это хоть чуть-чуть имеет отношение к Сергею Капитоновичу? Да, он хороший человек, он незлобивый. Но этого мало”. И я написал статью в журнал “Советская печать”. Назвал её так: “Кто должен быть редактором газеты – журналист или номенклатурная единица?”. Статью не напечатали и переслали из Москвы в Мурманск, в обком партии. Из обкома – в кандалакшский горком. Сергея Капитоновича освободили от должности редактора, сделали директором типографии, где он долгое время нормально работал. А редактором газеты сделали Ефима Фёдоровича Разина, человека, который, по сути дела, вёл всю газету. Вот такая произошла история. Но ещё до этого стало известно, что в Мурманск прилетает Гагарин. Я зашёл к редактору – позднее описал его в повести “Холера”: маленького роста, полненький, сзади волосики остались, впереди их нет. И глазки всегда блестят, потому что он поддавал, начиная с утра. Я назвал его “Спиртов”. Это и к нему, наверное, относилась поговорка: с утра выпил – весь день свободен. Говорю ему: “Сергей Капитонович, давайте мы сделаем репортаж о пребывании Гагарина в Мурманске. Я съезжу и напишу”. Он мне: “Да ты что! У нас так нельзя. Есть ТАСС”. А тогда все официальные материалы передавались из Москвы по линии ТАСС. Стоял телетайп, стучал, всё это было... Однако я продолжал настаивать, говорил, что мы только выиграем в глазах читателей и других газет. Он сопротивлялся, потом махнул рукой: “Давай, езжай”.

Гагарин, или Как я потерял голос

К Гагарину и к его полёту у меня было особо восторженное отношение. И дело вот в чём. Вскоре после поступления в университет я отправил в Москву письмо с очень простым адресом: “Москва, Комитет по космонавтике”. Я и знать не знал, что такой комитет существует, – просто догадывался. В нём писал, что после запусков спутников, полёта собачек вполне нужно ожидать полёта человека в космос, и я прошу меня, студента факультета журналистики Щепоткина, включить в возможный отряд космонавтов.

Письмо бросил в почтовый ящик и в наступившей круговерти новой жизни забыл о нём. Каково же было моё удивление, когда в общежитие пришло ответное письмо. Мало того, что я не написал ни улицы, ни проспекта в Москве, просто – Комитет по космонавтике. Как нашли, как работала тогдашняя почта? Но мне ответили: “Уважаемый товарищ Щепоткин! Да, вполне возможны скоро полёты человека в космос. И нужны будут люди разных специальностей. Но вы учитесь, возможно, потребуются и журналисты”.

И вдруг 12 апреля 1961 года утром, мы ещё в полудрёме, нас четыре человека в комнате, слышим по радио позывные. Причём не обычные позывные, а “Широка страна моя родная”. Я вскакиваю и кричу: “Мужики, или война, или человек в космосе”. Точно – запуск, майор Юрий Алексеевич Гагарин. Я бегу быстрее в университет, чтобы там поделиться своими восторгами с людьми. Но, не доезжая до университета, поворачиваю к Академии художеств. Огромные залы, на возвышениях сидят голые натурщицы, а неподалёку ребята их рисуют. Я открываю двери, и вроде как мне неловко, как будто закрываю ладонью глаза, а сам щёлки оставляю, потому что в ту пору я голых женщин, можно сказать, редко-редко видел. Кричу: “Ребята, человек в космосе! Наш человек!” Они бросают кисти, девки одеваются быстрее, и мы бежим к университету. Там тоже какая-то группа, мы им кричим: “Человек

в космосе!” Собираемся. И когда перешли Дворцовый мост, я гляжу — нас уже довольно большая группа. Идём, выходим на Невский, орём: “Все там будем! Даёшь космическую стипендию!” И прочую восторженную ерунду орём.

На Аничковом мосту, а он немножко горбатый, я оборачиваюсь и с потрясением вижу, что от моста до Адмиралтейства, а это, я думаю, с километр, сплошная лавина людей. И все мы идём, кричим, нам из окон машут.

Вот этой толпой, этой лавиной мы ходили целый день по Ленинграду, орали. А вечером на Дворцовой площади возле Александровской колонны соорудили из фанеры какую-то примитивную трибуну, и туда вылезали все, кто хотел что-то говорить. Я тоже стал подниматься. Меня спрашивают: “Ты кто?” — “Студент”. — “Слово представителю советского студенчества”. Я там ещё покричал, поорал. И вот так сорвал голос.

Когда приехал в Мурманск, там уже был Гагарин. Ему нужно было ехать в обком партии. Там встреча с передовиками, разговоры. Мне тоже надо на чем-то ехать, я же из Кандаляки приехал на поезде. Машин была целая колонна, штук десять, не меньше. Потому что с Гагариным прилетел второй секретарь ЦК комсомола Пастухов Борис Николаевич, прилетели люди из ЦК партии, комсомола. Местные деятели тоже были при машинах. Смотрю: в первую садятся Гагарин и Пастухов. Во вторую — молодая, красивая женщина; это оказалась редактор мурманской молодёжной газеты “Комсомолец Заполярья” Зоя Быстрова. Потом мы с ней встретились в Ярославле, куда её направили собкором “Правды”, а с её мужем Женей Трофимовым мы работали в одном отделе “Северного рабочего”. Третья машина пока свободна, — может, её пассажир с кем-то разговаривал. Я сажусь, говорю водителю: “Держись за второй машиной”.

Приехали в обком. В гардеробе раздеваемся, я снимаю своё пальтишко, Гагарин — шинель. Задеваем друг друга. Улыбаемся, извиняемся. Прошли в какое-то помещение. После этого официального представления у Гагарина встреча с работниками рыбокомбината. И вот тут начинается мука для великого человека. Его водят из цеха в цех, и в каждом в подробностях рассказывают, как бланшируется рыба, как закатываются банки, всю технологию. Он стоит, слушает. А рядом — толпа партийных, комсомольских чиновников, кагэбэшников, разумеется, телевизионщиков, газетчиков. Народу человек тридцать. А ему там работницы рассказывают.

Ну, я, будучи человеком, скажем так, не обременённым ни властью, ни уважением к ней, постоял, послушал и отошёл к девчонкам в отдалении. Говорю о чём-то с ними, расспрашиваю, смеюсь. Гагарин увидел, бросил толпу, подходит к нам. “Что тут у вас?” — “Да вот, расспрашиваю девушку, как после такого грохота услышать шёпот? — И задаю вопрос: — А когда ракета поднималась, шум в кабине сильный?” — “Да, конечно”, — отвечает Гагарин. Больше я спросить ничего не успел — нас окружила толпа.

Следующим оказался филейный цех. Рассказывают, как бланшируют рыбу, куда она потом идёт. Я снова постоял чуть-чуть и отхожу в сторону. Останавливаюсь возле молодой работницы, которая перекладывает какие-то пакеты. И опять, оторвавшись ото всех, к нам подходит Гагарин. Оказывается, в пакетах наборы из трёх видов рыбы. Космонавт с интересом вертит пакет в руках. Говорю: “Вот с чем ехать на рыбалку, Юрий Алексеевич, никаких забот”. А Гагарин смеётся: “Точно-точно, хорошая, наверное, будет уха”.

В один из таких подходов, пока сопровождающие догоняли знатного гостя, говорю ему: “Знаете, Юрий Алексеевич, Вы, когда полетели, я организовал демонстрацию в Ленинграде, я был студентом и сорвал голос”. — “А надо ли было?” — улыбнулся Гагарин. “Сейчас-то не знаю, а тогда орал”.

Вот так прошло время на рыбокомбинате. Потом переехали на какое-то рыболовецкое судно, большое, крупное, чтобы там пообедать. Ну, проходим, я тоже иду за стол. За столом человек двенадцать, не больше. Я как раз оказался напротив Гагарина. Пью я винцо — “Мадеру”, я ж на работе, мне нельзя напиваться. Юрий Алексеевич пьёт водку. И я смотрю: у него не багровеет даже, а фиолетовым наливаются шрам над бровью. Потом были всякие рассказы о том, что он якобы прыгал с балкона от какой-то женщины, вроде муж пришёл. Но где тут правда, где вымысел, сейчас установить трудно. Да и не надо это. А тогда я глядел на него и думал: ёлки-палки, как тяжело быть в нашей стране великим при жизни! Ведь ему же никуда не сходить, не отойти в сторону, не сделать ничего, никого не погладить, ни с кем не поспорить,

не выпить. Везде он должен держать марку, должен улыбаться, быть символом страны.

Ну, пообедали. Переходим на другое рыболовецкое судно. Там трап, по трапу надо подниматься. Стоит парень из КГБ. Я подхожу, он спрашивает: “Вы откуда?” Обычно весь день меня никто не спрашивал. Видят, что мужичок молодой с университетским значком, с этим “поплавком”, уверенно ходит. Московские думают, что я местный кагэбэшник, а местные думают, что я московский кагэбэшник. И как бы меня везде не трогают. А этот спросил: вы кто, откуда? Я говорю: “Я журналист из газеты “Кандалакшский коммунист”. Он так рот разинул: “Откуда-откуда?” – “Кандалакшский коммунист”, – уже с меньшей уверенностью я говорю. “Какой коммунист?! А ну-ка, иди отсюда” – и не пустил меня. На этом и закончилась моя миссия по визиту Гагарина.

Я привёз фотографию, где мы с Гагариным. Просто больше никакой не было. Кто-то из фотографов дал, по-моему, из “Комсомольца Заполярья”. И её напечатали в нашей газете. Но меня так заретушировали, что даже я сам себя не узнал, не то что кто-то меня бы узнал.

А на память о полёте и о встрече с Гагариным у меня остались сорванный голос – певучий был голос, звонкий, вся родня у меня певучая, – и автограф в блокноте.

Скитания с блокнотом и гитарой

Через некоторое время жизнь моя резко покосилась, и я послал университетским друзьям три телеграммы. В каждой из них было два слова: “Мне плохо”. Дело в том, что я столкнулся с предательством близкого человека. Послал в Петрозаводск Эрику Цыпкину, в Ленинград – Толе Ежелеву, в Ярославль – Лёне Винникову. Цыпкин в ответ присылает телеграмму: “Объясни, в чём дело”. Ежелев, не дождавшись пассажирского поезда из Ленинграда в Мурманск, который проходил через Кандалакшу, сел на какой-то товарняк и приехал на нём. Но я буквально за несколько часов до этого уехал из Кандалакши. А Лёнька Винников прислал простую телеграмму: “Приезжай”.

Я приехал в Ярославль. Он меня сразу повёл в газету, познакомил с заместителем редактора Семёном Подлипским. Редактор Иванов Александр Михайлович был в отпуске. Мне говорят: вот промышленный отдел, вот тебе задание. Дали кандидатуру какого-то рационализатора. Я пошёл, написал. Людям понравилось. Набрали гранки, уже хотели ставить в номер. И в этот момент приходит из отпуска Иванов. А там была, как бы сказать, междоусобная война Иванова и Подлипского. И у того, и у другого был свой актив, свой лагерь. Иванов, видя, что Подлипский приветил какого-то парня, который написал по их заданию заметку, это значит, будет ещё один штык в отряде Подлипского. И он не стал принимать меня на работу. Даже ничего не говоря мне, намекнул Лёньке: твоего товарища не возьмём. Только потом я понял, в чём дело.

Но это потом. А тогда я не знал, куда ткнуться. Я пошёл на телевидение. Им руководил Герман Баунов. Мы через Лёню знали друг друга. Этой троицей выпивали, погуливали с девчатами; мы-то с Лёнькой холостые, а Герман – женатый. Но Баунов позвонил Иванову и тоже отказал. Я завис без работы, без денег. Хорошо, ребята из ярославской молодёжной газеты – там работал мой однокурсник Валера Прохоров – созвонились с костромской “молодёжкой” и договорились обо мне. Я поехал туда. Помню, перешёл по льду пешком Волгу и попал прямо в центр Костромы. Газета была маленькая, как и многие молодёжные газеты, с небольшим тиражом. Редактором была (не буду называть имя и фамилию) странная, нервическая женщина. Худая, лихорадочный румянец на щеках, вся из себя комсомольская, но по возрасту уже старуха. Забегая вперёд, скажу. Долгое время после Костромы я порывался написать роман под названием “И восходит закат” – о женщине, которая через постели, через предательства близких, через сжигание в себе благородных задатков лезет вверх по карьерной лестнице от молоденькой комсомольской активистки до деятельницы среднего масштаба. И добравшись, наконец, до вожделенной вершины, с которой, как она думала, откроется вид на прекрасные в свете утреннего восхода дали, постаревшая, истоптанная неправедной жизнью карьеристка увидела безрадостный закат.

Но, как говорится, вернёмся к делу. Я стал работать заведомо рабочей молодёжи. Нормально пошло всё, сам писал, с ребятами в отделе контактировал хорошо. Но через некоторое время начались проблемы. Я впервые в жизни узнал, что такое отказать в притязаниях женщине-начальнице. Не скажу, что я был малый целомудренный, избегал женщин. Скорее, наоборот. Но эта дамочка меня не прельщала. Лежать с такими в постели, говорил я, всё равно, что на железной крыше, – один грохот. Да и мужа её я неплохо знал, хотя, честно сказать, не это было главным. В общем, несколько её попыток я вежливо отверг.

И сразу стал критикуемым, сразу мои материалы и материалы моих сотрудников стали выбрасываться. А на первый план по уважению начала выходить рослая, крупная телом дама с несколько странным для её облика стилем материалов и особенно оформления газеты. Язык заметок напоминал вязание кружев, за которыми нельзя было разглядеть смысла и сути. А в оформлении, которое предлагала дама-гренадёр и что бурно одобряла редакторша, главными были опять-таки кружева, только теперь рисованные.

Я посмотрел-посмотрел, вижу, к чему дело идёт, и уехал в Ярославль. Опять уехал в никуда.

Лёне дали уже квартиру однокомнатную. Она была абсолютно пустая. На кухне только стол и две-три табуретки, а в комнате диван и надувной матрас. Мы по очереди спали, то он, то я, на диване и на надувном матрасе. Если кто-то начинал чихать, заболеть, тот переходил на диван. Если выздоравливал, ложился на надувной матрас. Денег ни у него, ни тем более у меня не было. И мы были рады иногда, что у нас появляется мелочь, чтобы доехать до редакции, до центра. Там я шёл на радио, ребята давали тему, я звонил, быстренько писал какие-то информации, одну, вторую, третью, тут же в вечерних выпусках её давали. И сразу шла в кассе расплата. Но это были не деньги, а так, слёзы. Надо было что-то решать кардинально.

И тут Лёнька созвонился со смоленской молодёжной газетой. А там работали супруги Крупенькины. Витя Крупенькин был с одного со мной курса, только из английской группы. А его жена Светлана – однокурсница Винникова, работала в молодёжной газете. К слову сказать, курсы у нас были небольшие. На нашем, к примеру, человек тридцать.

Я приехал в Смоленск. И у нас началась хорошая работа и весёлая жизнь. Это там я увидел комсомольскую поросль, увидел комсомольских вожakov, это там у меня родился слоган про них: “Вверх с разинутым ртом (это в разговоре с партийным начальством), а вниз – с разинутой пастью (это когда на нижестоящие комсомольские ячейки)”. Выражение распространилось. Дошло до обкома комсомола. Редактору сказали: не те кадры подбираешь. Но мы не особенно переживали, потому что муж одной женщины из нашей компании был секретарём обкома комсомола, и он это дело замял.

Жизнь была хорошая, весёлая. И вот тут у меня стала вырисовываться идея дома в деревне с землёй. Я потом об этом расскажу дальше, когда у меня будет подробный разговор на эту тему. А сейчас о том, как в самый разгар весёлой жизни, творческой жизни тоже, приходит телеграмма от двоюродного брата Валерки, который говорит, что мама у меня плоха, больна раком. Я всё бросил. Приятели расписались на гитаре. Я взял гитару, чемодан и помчал в Волгоград.

Глава 2 **“Город гвардейских улиц”**

Там меня приняли на работу в “Волгоградскую правду”. Взяли стажёром с зарплатой 50 рублей. Некоторые смотрели, выживу или нет. Я разрывался между работой в редакции и домом, где умирала мама. К большой моей горести, спасти её не удалось. Ей было всего 54 года. О всех переживаниях, о том, как всё это было, что я чувствовал, я написал в повести “Холера”. О новом, но, к сожалению, запоздалом её понимании, говорила и надпись на памятнике, который я сделал собственными руками: “Спасибо. И прости. Сын”. Сейчас я могу сказать всем только одно: “Берегите родителей. И старайтесь понять их”.

Постепенно всё более активно работал в газете. Писал заметки о хороших людях, критиковал недостатки хозяйствования. Создавал этюды о природе.

Некоторые из них были действительно хороши, что подтверждают читающие их сегодня люди. Довольно часто печатал фельетоны.

Свой первый фельетон я написал через четыре месяца после поступления в университет. Назывался он так: “Возьми на чай, папаша” — и был опубликован в университетской многотиражной газете. Университет, расположенный на Васильевском острове в старой части города, соседствовал со старинными зданиями. В одном из них, в большом полуподвальном помещении, располагалась столовая под названием “Академичка”. Там был зал для преподавателей и приличных размеров зал для студентов. Перед входом в залы был гардероб. В нём работали два мужика — здоровые мордovorоты, с ручищами, пузатые, в чёрно-серых халатах. И все, кто уходил и одевался, клали на широкий барьер деньги. Мужики ловко поворачивались, ловко смахивали в раскрытые карманы халатов деньги и продолжали дальше работать.

А я обратил внимание на одного парня. Видимо, это был студент. Мой интерес он привлек тем, что клал на этот барьер заметные деньги, а сам был одет в грязно-белую рубаху с почти чёрным воротником, на ногах ботинки подвязаны верёвками, и был он весь неопрятный и неухоженный. А деньги давал, потому что так было принято.

К фельетону меня подтолкнула одна встреча. Иду как-то по Невскому проспекту. Смотрю: навстречу знакомые вроде бы люди. По одежде, по походке — просто профессора. С портфелями, пузатые, здоровые, довольные. Вгляделся — ба! да это же наши гардеробщики, требующие “чаевые”! А-а, так вот вы, оказывается, какие! Ну, и написал фельетон.

Что тут началось! Мне потом ребята рассказывали, что всех, кто приходил из студентов, мордovorоты расспрашивали, кто такой Щепоткин, покажите нам этого Щепоткина. Видимо, кто-то показал. Я стал сдавать одежду, и у меня её выхватывали. Когда я давал номерок, мне чуть ли не бросали одежду. И тогда я сказал: да, надо делать продолжение фельетона “Возьми на чай, папаша”. Всё, как оборвало.

Вот с этого первого фельетона и началась моя, скажем так, фельетонная линия в журналистике. Но я писал и в других жанрах, активно вглядывался в жизнь области. Однажды увидел на карте название населённого пункта “Вчерашние Щи”. Причём оба слова с большой буквы. Я рассмеялся, представив, как называются его жители, и стал изучать топонимику региона. Сделал материал. От этого перешёл к названиям волгоградских улиц. Кстати говоря, в центре Сталинграда после всех адских бомбёжек и жутких уличных боёв осталось несколько старых дореволюционных домов. Я написал статью “Старый дом в городе”. Послал её в “Известия”, с которыми начинал сотрудничать. Она попала к Борису Ивановичу Илёшину — редактору отдела Советов, в будущем он стал заместителем главного редактора. О нём говорили так: он принимает форму любой жидкости, какую в него нальют, — настолько это был трусливый, тихо щебечущий человек. И с удивлением я потом увидел, что он хорошо знал русскую поэзию. А когда его выпроводили на пенсию в переломные месяцы истории, я как председатель профкома “Известий” всячески его защищал. Позднее, уже в журнале “Российская Федерация сегодня”, мы публиковали его статьи о русских поэтах, чтобы дать хоть немного заработать к маленькой пенсии.

Но это всё было потом. А тогда я написал статью “Старый дом в городе”, где отстаивал идею сохранения таких строений. Илёшин позвонил мне и завёл речь о том, что не нужны такие дома. “Что такое — ему сто лет? Ерунда, и зачем его сохранять?” Я говорю: “Борис Иванович, сохранять надо для истории. Чтобы люди лучше знали её. Сейчас ему 100 лет, а через 100 будет 200, а потом будет 300. Ведь старые дома в городах Европы когда-то были молодыми”. — “Да нет, не надо”. Так и замордовал статью.

Говоря о населённых пунктах области, я обратил внимание на названия улиц в Волгограде: 7-я Гвардейская, 13-я Гвардейская, 35-я Гвардейская, 51-я Гвардейская, 95-я Гвардейская, просто Гвардейская и другие. А ещё и фамилии воинов-гвардейцев. Вроде улицы гвардейца Наумова, рядом с которой я жил, не говоря о гвардейцах-командирах полков, дивизий, соединений. Я написал заметку “Город гвардейских улиц”. Даю её заместителю редактора Куканову. Говорю: “Посмотри, Лев Александрович. Думаю, будет полезно”. Он почитал, вернул текст. “Что ты, Слава! Это же ерунда — город гвардейских улиц. Подумаешь...” Ну, я вцепился. Говорю: “А улица имени

Олеко Дундича, воевавшего за Царицын в гражданскую, лучше? Ну, этот хоть тут бывал. А Роза Люксембург и Клара Цеткин – какое отношение имеют к городу, за который отдавали жизни гвардейцы?” Спорили, спорили... Неохотно, но всё же напечатали.

А через некоторое время где-то в Италии состоялась конференция или симпозиум мэров городов-побратимов. И выступая на ней, председатель Волгоградского горисполкома Иван Михайлович Королёв сказал: “А вы знаете, какой у нас город? Наш город – город гвардейских улиц”. Зал встал, и начал аплодировать. Вот такая была реакция.

О Сталинградской битве

Я не являюсь безоговорочным сторонником Путина. Что-то, сделанное им, поддерживаю как стратегически важное. Многие не одобряю. Это ошибки, порой немаленькие, порождённые его необоснованным, чрезмерным самомнением, дичайшее воровство и жуткую коррупцию в его окружении и в целом по стране.

Однако есть вещи, с которыми трудно не согласиться. Недавно (я пишу эти строки в апреле 2021 года), выступая с ежегодным посланием к российскому парламенту, он с удивлением заметил, что в наших учебниках истории нет даже упоминания о Сталинградской битве. О других военных операциях, особенно иностранных, есть. А о Сталинградской битве нет.

Путин удивился. Я бы возмутился. Потому что это не случайная ошибка. Это поступок ВРАГОВ. Цель – не просто принизить в глазах растущего поколения тяжёлый и трудный подвиг недалёких предков, а забить сознание завтрашних активных граждан России знаниями о подвигах чужих людей.

Больше того. Ещё в 2017 году произошла история с выступлением в Бундестаге ФРГ школьника Коли из Нового Уренгоя, где он пожалел умершего в плену в Сталинграде после битвы немецкого солдата. Дескать, он, как и другие немцы, не хотел воевать – их заставили. Страну взорвало возмущение. Люди требовали наказать этого десятиклассника, его мать, которая помогала писать текст выступления, учителей. Интернет давал гневные оценки. “Немцы почему-то не прислали своего школьника Ганса, чтобы он извинился не за одного – за сотни тысяч советских пленных, которых содержали, как скотов, и сознательно убивали”.

Надо сказать, условия у немцев в советском плену были несравнимо лучше. В начале войны им полагалась суточная норма питания в 2500 килокалорий, в то время как советский мужчина, не занятый тяжёлым физическим трудом, мог рассчитывать на норму в 2800 килокалорий. Да, в середине войны, в том числе после Сталинградской битвы, после которой сразу прибавилось 300 тысяч пленных, было уже не до прежних рационов, когда давали и хлеб, и мясо, и подсолнечное масло, и овощи. Наши люди в тылу едва не помирали с голоду, чтобы только досталось солдату-освободителю. Так что жалеть тех, кто пришёл нас убивать, – и убивал! – это не человеколюбие, а провал в памяти. И причиной того стала система образования. При обсуждении покаяния российского школьника в германском парламенте вскрылся вопиющий факт: на всё описание Великой Отечественной войны в учебниках истории отводилось две страницы. ДВЕ СТРАНИЦЫ на историю важнейшего периода в жизни страны! Четырёхлетней жесточайшей войны, от исхода которой зависело, появились бы на свет сами авторы и составители такого учебника? А ведь этот факт не случаен. Министр просвещения Фурсенко, который возглавлял это стратегическое ведомство с 2004-го по 2012 годы, заявлял: “Недостатком советской системы образования была попытка сформировать человека-творца. А сейчас задача – взрастить квалифицированного пользователя...” Американский президент Джон Кеннеди считал советскую систему образования лучшей в мире. Он говорил: “СССР выиграл космическую гонку за школьной партией”. А для Фурсенко нужны не мыслящие творцы. Лучше, если вырастет поколение ничего не знающих потребителей.

Часть интернет-пользователей предлагала не школьника наказывать, а тех, кто его таким сделал. “Свозить бы подростка в Питер, на Пискаревское кладбище, и в Волгоград, на Мамаев курган. Он, может быть, что-то понял бы”, – предложил один из авторов в интернете.

Конечно, заполнять исторический вакуум в головах надо разными способами. Но начинать — с учебника истории.

А при ком создавались такие вражеские пособия? Кто был министром просвещения в ту пору? Не Фурсенко ли? Или не сменивший его Ливанов? Оба заняли столь важные посты не без одобрения Путина. Так вот, надо расследовать эту ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ ДИВЕРСИЮ — по-иному её оценивать нельзя — и строго спросить по всей цепочке. Кто писал учебник, кто его утверждал — все должны ответить. По опросам ВЦИОМа, в 2019 году больше половины российских граждан оценили победу в Сталинградской битве как поворотное событие во всей Отечественной войне. А создатели учебника истории без рассказа об этом величайшем сражении сочли иначе.

Если из наших школьников хотят вырастить Иванов, не помнящих родства, то что удивляться зарубежным историкам, которые внушили своим гражданам, будто это их страны победили фашизм, а Советский Союз ни при чём, и главные жертвы принесли они, а не наш народ.

Например, одним из символов невероятно пострадавших от зверств фашистов городов является английский Ковентри. Его чтят, о нём рассказывают детям.

Вечером 14 ноября 1940 года Ковентри начали бомбить немецкие самолёты — в городе были авиационные заводы. Сбросили сначала зажигательные бомбы, а затем 700 фугасных. Погибли 554 человека. Бомбежки повторялись ещё несколько раз до 20 августа 1942 года. В общей сложности из 350-тысячного населения погибли 1236 человек.

А через три дня, 23 августа того же 1942 года началась первая варварская, а точнее сказать, чудовищная бомбардировка Сталинграда. В налётах, которые шли целый день волна за волной, участвовали около тысячи (!) самолётов. Они убили свыше 40 тысяч жителей, десятую часть населения города. За один день! Ровно столько же, сколько за пять лет войны потеряла от немецких бомбежек Англия. Подчёркиваю: тут — 40 тысяч за один день, там — 40 тысяч за всю войну. В этот день, 23 августа на Сталинград было сброшено семь тысяч бомб. На Ковентри 700 штук, в 10 раз меньше.

А всего за 143 дня Сталинградского ада и мужества на город фашисты сбросили около одного МИЛЛИОНА бомб и ДВА МИЛЛИОНА мин и снарядов. На каждый квадратный метр земли пришлось по ПЯТЬ бомб. Такого не знала ни одна страна в мире.

В первый день бомбёжки город загорелся со всех сторон. А когда поднялся ещё ветер, то пламя стало видно за Волгой на десятки километров. Сгорело всё, что может гореть.

Я иногда думаю: как мы победили гитлеровскую Германию, под которую легла вся Европа? Невероятно мощная, чётко отлаженная машина. Даже не машина — Махина. На которую работала и за которую воевала всё та же Европа. Оружие и машины из Чехии. Бензин и другие нефтепродукты из Румынии. Вольфрам из Португалии. Подшипники и железная руда из “нейтральной” Швеции. Оружия из захваченных стран хватило, чтобы вооружить двести дивизий. А эти двести дивизий как раз были сформированы из добровольцев разных стран Европы. Не считая регулярных соединений, воевавших на стороне гитлеровцев. Например, в Сталинградской битве участвовали, наряду с немцами, итальянцы, румыны, венгры, хорваты. И сколько потребовалось сил и жизни, чтобы остановить эту лавину, рвущуюся к Сталинграду. А ведь после нашего серьёзного поражения под Харьковом у нас на пути к Волге, по сути дела, даже единого фронта не было. Лишь отдельные очаги сопротивления. Фильм “Они сражались за Родину” как раз об этом. Наши разрозненные силы отступали, откатывались к Сталинграду. А немцы пёрли едва ли не как на параде. Мне рассказывали, что их танки неслись по Московскому шоссе, и чтобы остановить стальную армаду, против танков поставили зенитчиков, которые прямой наводкой били по немцам. Однако фашистов было трудно удержать. На северной окраине города, выше Тракторного завода, они прорвались к волжской воде. Многие тут ею и захлебнулись. Остальных ценой больших потерь, особенно среди рабочих завода, отогнали. На южном конце города немцы тоже рвались к Волге...

Наша семья жила в центральной части города. Бабушка, мама, её родная сестра, моя тётя Тося и мы с двоюродным братом, которому было два с половиной года, а мне — три с половиной, прежде чем бежать далеко к Дону,

решили попробовать перебраться за Волгу. Говорят, детская память — это своеобразный фотоаппарат. Так вот, этот “фотоаппарат” запечатлел немало жуткого: мёртвые тела соседей, с которыми вроде бы только что говорила бабушка; сползающая на моих глазах от взрывной волны крыша нашего дома, когда я высунул голову из вырытого дедом на огороде погреба, где пряталась не только наша семья; горящий семафор, перебитый осколками, согнутый в середине. По нему полз огонь — это горела краска. На железнодорожных путях, которые мы перебежали, горели вагоны. Над ними поднимался чёрный жирный дым. Сказали, что это горит сахар.

Мы пошли по улочкам, прижимаясь к той стороне, где было меньше тел убитых людей. Подошли к Волге, даже не к самой Волге — остановились в некотором отдалении, и увидели, что по воде плывёт пламя, что горит Волга. А это горел бензин и мазут из огромных баков Нефтеиндиката, расположенных на самом берегу Волги. Мы не смогли тогда даже подойти к берегу. И побежали в другую сторону — в сторону Дона. Как мы переходили его, расскажу дальше. А сейчас — о “Волгоградской правде”.

Я довольно успешно работал в газете. Получал премии. Они отмечались в приказах и, оказывается, записывались в трудовую книжку, о чём я даже не подозревал. При этом одновременно стал сотрудничать с “Известиями”. Дело в том, что Толя Ежелев, с кем я жил в одной комнате университетского общежития, — нас там было четверо, и все они на два курса старше учились — стал собкором “Известий” по Ленинграду. А в Волгограде собкором был Георгий Кудряшов. Толя поговорил с ним и сказал: “Ты Славу Щепоткина привлекай”. Георгий, спокойный, по-моему, совсем невозмутимый человек, позвал меня и говорит: “Давай, пиши заметки, информации”. Я стал давать сначала информации. И они пошли, пошли в “Известиях”. А это, между прочим, было не так просто — пробиться на страницы огромной, второй газеты Советского Союза.

Мало того, как заядлый охотник я обратил внимание на некоторую неорганизованность охотничьей жизни в нашей стране и написал корреспонденцию под названием “Право на выстрел”. Она вызвала не только обсуждение на страницах газеты. Были приняты некоторые правовые акты, ужесточающие правила получения оружия, поведения людей в охотхозяйствах, чтобы шалляй-валяй не было.

Потом написал статью, изучив материалы, под названием “Отлив”. Там речь шла о сильно негативном влиянии Волгоградской ГЭС на размножение рыбы. В северной части города из Волги вытекает левый её рукав — река Ахтуба. Пройдя по направлению к Астрахани 400 с лишним километров, она опять впадает в Волгу. Весной, во время разливов, между Волгой и Ахтубой образуется огромное-огромное залитое пространство. И на этих мелководьях, в этих ериках, речушках и озерах прекрасно нерестится рыба. Не зря Волго-Ахтубинскую пойму издавна называли “родильным домом” Волги. Когда не было ГЭС, паводковые воды опалили постепенно. И рыба успевала не только отнереститься, но из икры уже вылуплялись личинки. А ГЭС, для того чтобы дать электричество народному хозяйству, делала попуски внезапно и массово. Вся эта трава, все ерики и мелководья обнажались, и миллиарды икринок погибали. Происходил отлив воды и “отлив” рыбы.

Я эту статью дал в “Известия”. Её опубликовали. А незадолго до этого в “Волгоградской правде” сменился редактор. Ушёл на пенсию Алексей Митрофанович Монько, суровый, требовательный старик, который сразу увольнял любого, кто попадался по пьяному делу. Что-то у него с глазами случилось, и он стал носить зелёные очки. Его сменил бывший собкор “Известий” по Волгоградской области Виктор Борисович Ростовщиков. Довольно любопытная личность. Он был посредственный журналист, если кого и критиковал, то не выше председателя колхоза. А главное, старался угодить первому секретарю обкома партии Куличенко. При этом усиленно налаживал связи в Москве. И его туда взяли. Заместителем ответственного секретаря “Известий”. То есть заместителем начальника штаба. Ответственным секретарём был Дмитрий Фёдорович Мамлеев, муж актрисы Клары Лучко.

Ростовщиков поработал там немного, получил, кстати говоря, прекрасную квартиру около Белорусского вокзала, на тогдашней улице Горького. По-моему, даже не одну ему дали, а две, он их соединил. И стал плести заговор против Мамлеева. О том, как это было, мне потом рассказал один из моих

друзей по охотничьей компании и коллега по работе в отделе Советов Игорь Карпенко. Ростовщиков пришёл к нему, начал говорить, что Мамлеев уже не тот, Диму надо заменить. Карпенко не стал долго слушать, взял его за руку, а я не даром впоследствии дал ему кличку “Домкрат”: чуть ниже среднего роста, плечистый, очень сильный мужик. Он схватил Ростовщикова за руку и повёл в кабинет Мамлеева. Ростовщиков сопротивлялся, пытался вырваться, но не тут-то было. Они вошли. Карпенко говорит Мамлееву: “Дима, вот твой заместитель заявляет, что тебя уже надо менять. Пусть он сейчас это повторит”.

В итоге, Ростовщикову пришлось убежать из Москвы. Его приютил первый секретарь Куличенко, сделал редактором газеты “Волгоградская правда”.

Надо сказать, что внешний вид её Виктор Борисович резко изменил. По вёрстке она стала похожа на “Известия”. И содержанием, тематикой начала меняться.

А я вскоре после прихода Ростовщикова затеял эпопею с подъёмом со дна Волги пожарного парохода “Гаситель”. Новый редактор очень поддержал эту идею. Потом-то я понял, что ему нужна была какая-то акция газеты, о которой бы все заговорили. Причём, конечно, связывалось бы это с его именем. Ну, подобное намерение, я думаю, вполне естественно для каждого нового руководителя, а для редактора газеты – тем более. Он, кстати говоря, когда только что пришёл, заходил к некоторым журналистам. В том числе ко мне. Зашёл и говорит: “Слава, я очень рассчитываю на твоё золотое перо”. Он же был собкором по Волгоградской области, знал всех нас, видел, как мы пишем. И мы знали невысокий уровень его журналистского мастерства.

О “Гасителе”

Однажды в редакцию пришло письмо от ветеранов-речников. Они рассказывали о том, что был такой пожарный пароход “Гаситель”, построенный в 1903 году русскими корабельями в Нижнем Новгороде. В проектировании участвовал выдающийся российский и советский кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов. В отличие от многих своих деревянных собратьев – тогдашних судов, – он имел стальной корпус, мощную машину. При рождении получил имя “Царёв”.

Во время гражданской войны участвовал на стороне красных. Быстроходный, с пушкой и пулемётами на палубе, он перевозил военные подразделения, вёл разведку.

После гражданской занялся прямым своим делом – тушил пожары на судах и на берегу, где было много складов сплавляемой с верховьев Волги древесины.

В 1926 году сменил имя – стал “Гасителем”. На пароходе побывали Горький и Ворошилов.

Но самая героическая часть его судьбы, писали ветераны, связана со Сталинградской битвой. И приводили некоторые факты участия “Гасителя” в тушении пожаров и перевозке людей.

Спустя двадцать с лишним лет после Сталинградской битвы он был списан по возрасту и затоплен у левого, низкого берега Волги, чтобы предохранить его от размыва.

Получив такое письмо, я подготовил его к печати, и оно было опубликовано. А через некоторое время в редакцию пришло ещё одно послание, теперь от главного инженера 7-го отряда экспедиции подводных работ. Мы прочитали, сообщал он, письмо ветеранов-речников о легендарном корабле “Гаситель” и решили поднять со дна Волги то, что от него осталось. Это письмо, разумеется, передали мне. Дескать, ты начал, ты и продолжай.

Должен сказать, что история журналистики знает море примеров, когда издание что-то начинает как важное, даже назначает ответственного за это человека, однако проходит совсем немного времени, и благое начинание исчезает со страниц. Или ответственному дают другое, более актуальное задание. Или ответственный сам переводит свой “творческий локомотив” на другие рельсы – туда, где ему интересней. Пока интересней. И только лично причастные к той или иной проблематике журналисты ведут её упорно, нередко даже борясь с руководством издания за место на страницах. Я несколько лет носил наручные часы с выгравированной на обороте дарственной надписью от

Волгоградского общества охраны природы. Любил я природу и потому рьяно боролся за неё. Уехал, и, как мне говорили, тема зачихала.

Когда начались работы по подъёму, вернее, даже не по подъёму, а по подготовке к нему, я съездил к водолазам на их дебаркадер. Написал репортаж “Водолаз ведёт разведку”. Он начинался так:

“За песчаной косой, параллельной берегу, разливная Волга. На просторе ходят округлые волны, а в узком затоне — мелкая рябь. Солнечный ветер треплет два тёмно-зелёных флага на мачте водолазной станции. Они предупреждают: водолаз под водой, судам близко не подходить, а идущим мимо — сбавить ход. Водолазная станция — тринадцать тонн плавающего металла. Волна подбросит её и может заодно подбросить стоящего на грунте водолаза, оборвать сигнальный конец или шланг с воздухом. Впрочем, сказать о водолазе сейчас, что он стоит на грунте, не совсем верно. Из динамика переговорного устройства гремит голос: “Тут проволока в трюме. Чёрт знает, кто её тут накрутил. Трудно идти”. Может, динамик, а может, толща воды искажает голос, который я слышал рядом минут двадцать назад. Михаил Семёнович Журавлёв тогда готовился к спуску. Рослый даже без водолазного костюма, а в костюме — косая сажень в плечах, седина в тёмных волосах, он шутил и рассказывал, что там внизу. И вот теперь его голос доносится из-под воды. Узкий затон, где летом воробью по колено, сейчас глубокий от половодья. В этой восьмиметровой глубине и трудности, и спасение начатого дела. Трудно что-то делать в абсолютной тьме. Подводный монтаж в других реках, где приходилось бывать водолазу-ветерану, отличается от сегодняшней работы, как день от ночи. Даже в Дону, — а его-то Михаил Семёнович знает не только тихим, — он поднимал под бомбёжкой снаряды “катыш”, танки в полосе Воронежского фронта и мог каждую минуту всплыть, как оглушённая рыба, — даже эта река оказывается светлее Волги. Там можно видеть вытянутую руку, а здесь не различить белую рукавицу, приплюснутую к самому иллюминатору скафандра”.

В репортаже я рассказывал о трудностях, с которыми столкнулись водолазы. Поставленный у левого берега остов списанного корабля-ветерана не успел дожидаться официального затопления. Поднявшийся на Волге шторм залил через открытые иллюминаторы трюм, и стальной корпус боком пошёл на дно.

За восемь лет после списания останки корабля занесло трёхметровым слоем песка. Водолазы смыли его мониторами и теперь вымывали песок из отсеков. Торопились, потому что место захоронения довольно быстро мелело, а тяжёлый подъёмный кран, который должен подойти, и понтоны — с их помощью будут поднимать корпус — требовали большой воды.

Внутри отсеков была полная темнота. Да и снаружи Волга оказалась далеко не светлой, в чём я убедился лично, спустившись в водолажном костюме — медный шар со стёклами на голове, резиновая “одежда”, свинцовые башмаки на ногах — прямо космонавт какой-то! — и вот в этом одеянии я пощупал руками лежащий на дне корпус.

Некоторые мои знакомые спрашивали: а зачем его будут поднимать? Ведь от парохода, кроме ржавой коробки, ничего не осталось. Когда списывали, сняли абсолютно всё: рубку, машину, дымовую трубу, винт, спасательный круг. Даже ограждение палубы срезали.

Честно сказать, и мне досаждал этот вопрос. Ну, поднимут, отвезут на какой-нибудь судоремонтный завод и разрежут на металл. Что ж, хоть такая польза будет от давно списанного ветерана.

Тем не менее я продолжал набирать информацию. Встретился с некоторыми авторами письма о “Гасителе”. Они кое-что добавили о корабле, рассказали про капитана Петра Васильевича Воробьёва — довольно легендарного человека.

Рассматривая фотографии “Гасителя”, вспомнил, что мы пацанами любили его крутые волны и, завидев этот, со стремительными очертаниями, корабль, вскакивали с горячего песка, чтобы не пропустить удовольствие.

Не без некоторых сложностей разыскал адрес Петра Васильевича Воробьёва. Съездил к нему домой. Старику исполнилось уже 89 лет. Но он был достаточно бодр, как говорится, в добром уме и здравой памяти. Он рассказал о некоторых особенно памятных эпизодах.

Началом Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Хотя немцы ещё только прорывались к городу, Волга уже была у них под прицелом.

27 июля Воробьёв получил приказ: спасти караван с горючим, который фашистские самолёты подожгли выше Сталинграда. На полном ходу “Гаситель” пошёл вверх по Волге. Встретившийся ему буксир “Кузнец” предупредил, что на фарватер немцы сбросили плавучие мины. Обходя их искусным маневрированием, гася плавущие по воде очаги горящего керосина, команда пожарного парохода ещё издали увидела сначала дым, а потом пламя. Это горела баржа “Обь”. На ней было 10 тысяч тонн керосина. Две другие – “Рутка” и “Медянка” – шли с мазутом. Взрывом на “Оби” вырвало палубу, и пламя с рёвом неслось вверх. Огонь с горящей баржи поджёг надстройки на двух других. Воробьёв понял: ту, что с керосином, не спасти. Надо спасти хотя бы мазут. Он приказал сбить занимающееся пламя на баржах с мазутом, а “Обь” отцепить от них. Обвязав мокрым фартуком лицо, первым прыгнул на палубу “Рутки” начальник пожарной команды Нестеров. За ним – двое пожарных матросов. Командир боевого расчёта Червяков руководил работой тех, кто отгораживал смельчаков от огненной баржи стеной воды.

Всего несколько минут работали рядом с гудящим пламенем трое отважных бойцов, но всем они показались часами. Наконец, цинковый трос размотан, и баржи с мазутом спасены. “Гаситель” отвёл их в Краснослободский затон, что напротив Сталинграда. В течение всей навигации этим горючим управлялись воюющие суда.

Памятным было для Воробьёва и 8 августа 1942 года. В тот день фашисты бомбили станцию Сарепта в южной части города. От взрывов загорелось железнодорожное депо, здание станции, жилые дома рабочего посёлка. А на путях стоял эшелон со снарядами. Огонь уже подходил к нему. Если бы загорелись вагоны, всё разнесло бы вдребезги. “Гаситель” приткнулся к берегу, команда выбросила пожарные рукава, и началась борьба за жизнь рядом со смертью.

Особенно страшным было 25 августа. За два дня до этого произошла та самая бесчеловечная бомбардировка Сталинграда, в которой участвовало около тысячи фашистских самолётов. Они убили сразу, за один день, 40 тысяч мирных жителей. Вытянувшийся на 50 километров вдоль Волги город горел весь. Горела даже река. “Гаситель” и днём, и ночью сновал вдоль берега, пытаясь подавить мощными струями воды очаги пожаров. Люди почернели от копоти, у многих обгоревшая одежда, глаза красные от дыма и бессонницы. Вечером 25 августа на “Гаситель” налетели два “юнкерса” и “мессершмитт”. С бреющего полёта они обстреливали судно из пулемётов. Столбы воды от падающих бомб вздымались рядом с бортами и вместе с осколками обрушивались на пароход. Разлетелись стёкла в рубке. Осколок в сердце был убит механик Ерохин. Сражённый пулей, замертво упал маслэнщик Соколов. Были ранены пулемётчик, а также краснофлотцы Агарков и Елагин. Корабль получил много пробоин, но капитан приказал заделывать их и откачивать воду из трюма на ходу. Надо было передать погибшего Ерохина семье в Красной слободе. Родственников Соколова найти не смогли. Похоронили товарища под приметным деревом, чтобы можно было позднее отыскать.

И ещё о Сталинградской битве

После первой адской бомбёжки фашисты попёрли на Сталинград изо всех сил. Они захватили господствующую высоту – Мамаев курган, с которого просматривался весь город и Волга. Прижатые к обрывистому правому берегу, наши войска, даже не войска, а откатившиеся в ходе отступления группы сопротивления, отчаянно боролись.

Самыми тяжёлыми стали дни 12–13–14 сентября. Не считаясь с потерями, немцы прорывались в центре города к Волге. В их руках уже был железнодорожный вокзал, от которого до берега оставалось несколько разрушенных кварталов. Фашисты считали, что для обороняющихся в этом месте советских солдат наступают последние часы.

Но произошло невероятное. Невероятное для немцев. В ночь с 14-го на 15 сентября с левого берега к Сталинграду речные суда перебросили 13-ю гвардейскую дивизию генерала Родимцева. Она сходу вступила в бой, отбросила немцев от Волги. А уже 16 сентября отбила у врага Мамаев курган.

Дивизия была не только гвардейской. Она была молодёжной. Генерал-майору Александру Родимцеву едва исполнилось 37 лет. Командирам батальонов – 21–22 года. Молодыми были и солдаты-гвардейцы.

Однако временные наши успехи не меняли тяжёлой обстановки в целом. Я давно хотел написать книгу о Сталинградской битве. Но всё откладывал — слишком большая и тяжёлая работа. Теперь уж вряд ли напишу.

Но вникать в тему начал ещё тогда. Собирая информацию о “Гасителе”, знакомясь с материалами в Музее обороны Царицына — Сталинграда, я всё больше представлял себе общую картину мужества и ада, в которых сражались и погибали защитники города. И роль “малого флота” в той великой победе. Откатившиеся к Волге разрозненные, обескровленные части нельзя было назвать ни полноценными армиями, ни тем более фронтом. Получить подкрепления прижатые к правому берегу широкой реки части могли только из-за Волги. Это понимали наши бойцы. Это понимали немцы. И лучше всех понимали речники. Пылающий на другом берегу город ждал подкреплений. В подвалах разбитых, обгоревших домов-руин прятались женщины и дети. Стонали раненые солдаты и командиры, ожидая переправы на другой берег. И команды “малого флота” в немыслимо трудных и смертельно опасных условиях помогали борющимся нашим войскам. Десятки разных судов делали рейс за рейсом к пылающему берегу. Пассажирские пароходы и речные трамвайчики, катера и баркасы, буксиры и баржи, моторные и даже вёсельные лодки перевозили на сталинградский берег воинские подразделения, оружие, боеприпасы, продовольствие, курево, медикаменты, а на левый — остатки гражданского населения, раненых. Среди них заметным был единственный пожарный пароход “Гаситель”. Он тушил огонь на подождённых фашистами судах: немцы охотились за каждым судном. Перевозил на правый берег военных, а на левый — женщин и детей. Капитану не раз приходилось выходить из рубки и успокаивать рыдающих матерей, которые кричали, что пароход идёт слишком медленно и сейчас их убьют немецкие самолёты. Перевозил “Гаситель” раненых, плотно заполняя ими палубу, ибо смертность от ранений в 62-й армии Чуйкова была в четыре раза больше, чем в 64-й армии Шумилова. Шумиловская армия обороняла южные районы Сталинграда. Здесь переправиться на левый берег было немного легче. Правда, и тут бомбили, топили, обстреливали с воздуха и с земли. В чуйковской же, которая держала оборону в центральной и северной части города, раненых надо было спустить из окопов вниз, к воде, и ждать темноты. Да и ночами смертельно опасно было прорываться спасительным судёнышкам. Волгу немцы освещали ракетами, прожекторами, фарватер забросали сотнями донных магнитных мин, и не все суда “малого флота” доходили до правого берега.

Тем не менее, трудно поверить, но обеспечение сражающихся было такое, что вызывает просто изумление. Готовя эту главу, я с большим удовлетворением узнал, что в Волгограде работает Центр по изучению Сталинградской битвы. Его возглавляет научный сотрудник Борис Григорьевич Усик, который до этого был директором Музея обороны Царицына-Сталинграда. Ему 78 лет. Из них более 20-ти занимается изучением Сталинградской битвы. Переживает, что выросшая на учебниках истории “фурсенок” молодёжь недостаточно интересуется Великой битвой на Волге и её героями. А ведь волгоградский Центр — очень хорошее дело! В разных странах есть подобные структуры. Они изучают не только историю Второй мировой войны, но и отдельные её эпизоды. И средства для их работы, помимо государства, выделяют состоятельные граждане. Нашим сверхбогачам тоже не мешало бы отстегнуть от яхт размером с линкор или от содержания зарубежных футбольных клубов денег на волгоградский Центр, ибо, не будь Сталинградской победы, не было бы предков этих олигархов, не говоря о них самих. Победить нужно было любой ценой, поскольку никто ещё, кроме наших зарубежных разведчиков-нелегалов и руководства страны, не знал, что падения Сталинграда ждут Турция и Япония. Первая собиралась уже весной 1943 года напасть на советское Закавказье. Япония готовила “Сибирский поход”. Зато врывшиеся в сталинградский суглинок бойцы знали лозунг: “За Волгой для нас земли нет!”

На стене мемориального комплекса на Мамаевом кургане выбиты слова из фронтового очерка Василия Гроссмана: “Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?!”

Да, они были смертны. За время боёв в Сталинграде личный состав 62-й армии сменился несколько раз. Пока на замену погибшим не поступали новые бойцы, оставшиеся стояли насмерть. При этом показывали чудеса боевого

мастерства. И сейчас, и тогда от знаменитого Дома Павлова, который захватили несколько наших бойцов под командованием сержанта Якова Павлова, до волжского обрыва всего 200 метров. Казалось бы, пройти пешком – ерунда: 5 минут небыстрым шагом. Но небольшая группа советских солдат разных национальностей удерживала глубоко вклинившийся в позиции фашистов дом полтора месяца, отбивая жесточайшие атаки немцев. Ещё ближе – 120 метров – было от наших окопов до берега неподалёку от Дома Павлова. У некоторых нынешних дачников огороды длиннее. Но фашисты так и не смогли пройти эти ничтожно малые расстояния до обрывистого берега Волги, в глубину которого врылись штабы 62-й армии, её полков и батальонов. Обескровленная, теряющая людей, она держала эти метры до великой русской реки. О её состоянии в октябре 1942 года маршал Жуков писал в мемуарах: “Остались тылы и штабы”.

Но в октябре 62-й армии перебросили шесть полноценных дивизий. Перевезли из-за Волги. Судами “малого флота”. Командующий армией Василий Иванович Чуйков позднее говорил: “Если бы не героические усилия речников и Волжской военной флотилии, которые в невероятных условиях обеспечивали 62-ю армию всем необходимым для успешного ведения боевых действий, то трудно сказать, чем бы могла закончиться битва за город Сталинград”.

Чуйков знал, о чём говорит. В “Энциклопедии Сталинградской битвы”, изданной волгоградским Центром, к сожалению, очень маленьким тиражом, я встретил цифры, в реальность которых сегодня трудно поверить. Не буду называть количество переброшенного за всё время боевой навигации – оно огромно. Приведу цифры только доставленного через Волгу Сталинградскому фронту с 1 по 18 ноября 1942 года для намеченного на 19 ноября контрастступления. Это 160 тысяч солдат, 10 тысяч лошадей, 430 танков, 600 орудий, 14 тысяч автомобилей и 7 тысяч тонн боеприпасов. А ведь вдобавок к фашистским обстрелам и бомбёжкам появился лёд – 10 ноября Волга у Сталинграда начала замерзать. Сложно даже придумать более адскую обстановку, в которой пришлось работать, да нет – воевать! – “малому флоту”.

Когда я готовил свои и авторские материалы о “Гасителе”, разумеется, ещё не знал этих цифр. Но даже из тех сведений, которые набирал, мне было видно, что многие люди даже не представляют значения той роли, которую сыграл “малый флот” Волги в Сталинградской победе. А она была решающей. И мне всё чаще приходила мысль о том, что поднятый и восстановленный “Гаситель” должен стать памятником погибшим и оставшимся в “живых” судам-героям и их экипажам.

Стоит отметить, что при очень большом по нынешним временам тогдашнем тираже областной газеты – 200 тысяч экземпляров – и при населении в 2,5 миллиона человек, первые публикации не вызывали большой ответной реакции. Но когда я написал заметку о роли “малого флота” в сталинградской победе, а следом – о восстановлении “Гасителя”, чтобы сделать его памятником, народ словно проснулся. Однажды поднимаюсь к себе на четвёртый этаж, а у нас на площадке между двумя коридорами, под мемориальной доской с фамилиями погибших журналистов, всегда стояли несколько стульев и столик для посетителей. И вот вижу группу ребят школьного возраста. С ними – женщина. Оказалось, ученики и учительница. Ребята меня увидели, спрашивают: “Скажите, где здесь принимают деньги на восстановление “Гасителя”? Мы сдали металлолом и хотим внести деньги на это дело”. У меня перехватило горло. Говорю: “Здесь, ребята, редакция. А чтобы собирать деньги, надо открыть счёт”.

И пошли письма. Рабочие Волгоградского моторного завода написали, что мы, такая-то бригада, хотим отработать смену и перечислить деньги на восстановление “Гасителя”. Пошли письма от селян. Активно начали писать пенсионеры. И стало понятно, что надо делать памятник. А каким он должен быть? Чтобы ответить на этот вопрос, я организовал в газете конкурс архитекторов. Предложения стали поступать не только от профессионалов. Активно включились и рядовые граждане. Мы опубликовали несколько предложений. Однако победил всё-таки известный профессионал – главный архитектор Волгограда, народный архитектор Вадим Масляев.

Однако до того, как поставить “Гасителя” на пьедестал, дел было очень много. Его надо было поднять, прикрепить для удержания на плаву к понтонам, осушить. Потом доставить на Краснослободский судоремонтный завод

для восстановления. Но процесс, как говорится, уже пошёл, и напряжение в обществе стало нарастать с каждым днём. Пришло письмо от одного жителя Краснослободска о том, что, когда пароход списывали, ему разрешили взять его рубку, которая стала гаражом для мотоцикла. Теперь он готов вернуть её. Другой читатель сообщил, что может возвратить спасательный круг с названием “Гасителя”. И как это часто бывает — стоит средству массовой информации обнародовать какую-нибудь идею, как тут же появляются её последователи. Хотя с момента списания прошло восемь лет, обнаружилось ещё несколько человек, которые всё это время берегли некоторые предметы с “Гасителя” и теперь хотели вернуть их на место прежнего “пребывания”. Но то, что было нужно действующему кораблю, уже не требовалось памятнику.

Надо сказать, что интерес читателей подогревала и предложенная Ростовщиковым рубрика: “Следим за событием”. Я изо дня в день писал о том, что близится время подъёма “Гасителя” и буксировка его на завод. Сообщал в газете: осталось четыре дня, три, два и, наконец, один день. Одновременно, как говорится, вёл организационную работу. Договаривался с руководством пожарной охраны Волгоградского управления внутренних дел, с Нижневолжским пароходством, чтобы те и другие выделили для предстоящей церемонии свои пожарные корабли.

Церемония ожидалась, конечно, не рядовая. Не каждый день поднимают со дна Волги останки корабля — участника Сталинградской битвы. В тот день, когда отмытый от песка, без воды в трюмах, латаный корпус “Гасителя” (почти 90 заваренных ран) должен был тронуться в свой путь к восстановлению, на пляжах левого берега, напротив Волгограда, люди стали собираться с утра. К 12 часам, к началу движения небольшого каравана, народ уже усыпал берег. И едва буксир с прицепленным сзади корпусом тронулся с места, над Волгой раздались разноголосые гудки. Басовитые — мощных буксиров-толкачей. Глубокие, элегантные — круизных лайнеров. Тонкие, изящные — речных трамвайчиков. Все, кто в эти минуты в разных направлениях двигался по Волге, приветствовали идущий к горловине Краснослободского затона караван.

А там стояли, как стражи у ворот, два современных пожарных корабля. На одном из них вдоль борта, обращённые лицами к бывшему Сталинграду, а теперь Волгограду, стояли ветераны пожарной службы. Среди них — члены команды “Гасителя” разного времени. Их было немного. Нескольких месяцев не дожил почти 90-летний Пётр Васильевич Воробьёв. Сталинградская битва отняла у него сына и любимую дочь. Михаил был офицером и погиб в самом начале сражения. Катя, студентка пединститута, хорошо знала немецкий язык и стала разведчицей. Некоторые из оставшихся в городе жителей помогали нашим, чем могли. В основном доносили о позициях фашистов. Рисковали. Моего деда по матери, Семёна Дмитриевича Бледных немцы хотели повесить, увидев, что он пробирается от наших окопов. Что-то помешало, и он остался жив.

А Катю Воробьёву при переходе линии фронта тяжело ранили в живот и перебили руку. Об этом капитану “Гасителя” рассказал знакомый шкипер, переправлявший его дочь вместе с другими ранеными на левый берег. Смелая девушка, которой едва исполнился 21 год, умерла в госпитале. “Сколько я ни искал её могилку, — говорил мне с болью Пётр Васильевич — даже через годы не утихла эта боль, — так и не нашёл, где можно было бы поклониться”.

Мне удалось разыскать бывшего главного механика “Гасителя”, который теперь работал сторожем на дачах в Краснослободском районе. Именно он заваривал пробоины на судне, когда после Сталинградской битвы впервые поднимали затонувший пароход. 17 сентября 1942 года он зашёл в Краснослободский затон, Волга быстро обмелела, и “Гаситель” не смог выйти. Его приказали поставить на якорь, а команде — сойти на берег. Бои и годы немногих оставили в живых. На поднятый в 43-м корабль пришли вместе с остатками прежней команды новые люди. Они много лет тушили пожары, старились, уходили на пенсию. Теперь с волнением ждали необычной процессии.

И как только буксир приблизился к “стражам” у входа, стоящий на одном из кораблей оркестр грянул марш “Прощание славянки”. А следом из пожарных лафетов обоих судов, на высоту 9-этажного дома поднялись мощные струи воды. Они специально были направлены так, чтобы образовалась большая

водяная арка. Все, кто стоял на палубе одного из кораблей, вскинули руки к фуражкам и кепкам. Буксир со стальным корпусом бывшего “Гасителя” медленно подходил к необычной арке. Марш сменился гимном Советского Союза. Несмотря на жаркий день, ветераны стояли в пиджаках. Сверкали на солнце ордена и медали. Старики плакали. Ну, сказать честно, я сам, конечно, не сдержался, тоже горло перехватило – столько дней напряжения, столько надо было организовать! А дома – годовалый сынишка, это тоже требовало забот. Немудрено, что нервы не выдержали.

Вот так встретили и провели на Краснослободский судоремонтный завод то, что осталось от “Гасителя”.

А потом началась волокита. Долго не восстанавливали: шли какие-то согласования. Теперь-то я знаю, какие. При плановой экономике внеплановые порывы энтузиазма не сразу обеспечивались деньгами. А включать народные пожертвования было не принято.

Вдобавок, очень многое зависело от позиции партийного начальства. Я уже уехал из Волгограда в Ярославль, когда узнал ещё об одной, причём далеко не мелкой причине торможения. Мне передали ответ первого секретаря Волгоградского горкома партии на вопрос: почему не делается памятник “Гасителю”? “Ну, вот я сейчас обращаюсь с этим предложением в Совет Министров Российской Федерации, – сказал он (тогда, в отличие от нынешнего времени, установка любого памятника согласовывалась и разрешалась правительством республики). – А меня спросят: все ли у вас в области хорошо с уборкой хлеба? И хорошо ли, активно ли помогает этому город, которым ты руководишь?”

Когда я узнал об этом, прямо скажу, рассвирепел. В миллионном городе не могут найти не слишком большие средства, чтобы воздать должное тем, кто, по сути дела, был одним из главных участников Сталинградской победы! Я тут же написал статью в газету “Советская Россия”. Это была газета ЦК КПСС. И рассказал о подвигах “малого флота”, о волоките с памятником и позиции первого секретаря Волгоградского горкома партии. Статью напечатали, после чего работа пошла, как нужно. И в 1977 году, к очередному юбилею, памятник был открыт. Он и сейчас стоит в пойме реки Царицы, вблизи главного речного вокзала, в центре Волгограда.

Правда, мне пришлось ещё раз обращаться к судьбе, теперь уже памятника. В чехарде волгоградских губернаторов, назначаемых из Москвы неизвестно за какие заслуги, были совсем случайные люди. Их больше заботило состояние собственного кармана, нежели состояние памятника волжским судам, помогавшим выиграть Сталинградскую битву. Корпус “Гасителя” поржавел, из текста на стеле выпали буквы. Да и текст, честно говоря, вызывает некоторое недоумение. Как говорится, ни слова, ни полслова не сказано о том, что немаловажная, если не главная, заслуга в появлении памятника принадлежит газете “Волгоградская правда”.

Да и нынешнему руководству речного флота можно сделать упрёк. В России ещё со времён Петра Первого существует традиция передавать имя геройского корабля, погибшего или отслужившего свой срок и списанного, новому кораблю. Мне кажется, что на Волге мог бы появиться новый “Гаситель”, принявший имя героя Сталинградской битвы.

Отлив и... отлуп

Теперь, думаю, нужно вернуться к статье “Отлив” в газете “Известия” и к событиям в связи с нею. Когда статья вышла, первый секретарь Волгоградского обкома партии Куличенко тут же позвонил редактору газеты Ростовщикову и отчитал его. “Что это твой Щепоткин позволяет себе? Критикует обком партии... Ты разберись с ним...” Тот взял под козырёк и очередную “летучку” начал со слов: “Кто вам, Вячеслав Иванович, разрешил печататься в чужой газете – “Известия”? Мы должны сделать правилом, что все публикации наших журналистов за пределами “Волгоградской правды” должны быть только с разрешения”. Я вспылил, сказал, что это неправильно, безобразие. Он заявил что-то вроде: если не нравится, можете уходить. Я встал и вышел из его кабинета, где проходила “летучка”.

Потом приходили ребята. Уговаривали не горячиться. “Это всё ерунда, старик. Он, конечно, сморозил глупость, но ты-то будь умнее”. Однако я думал:

вот повод уехать в Ярославль. Позвонил Лёне Винникову. Он ещё раз хорошо поговорил с редактором областной газеты “Северный рабочий” Ивановым и сказал: “Приезжай”.

Так у меня получился второй заход в Ярославль.

Глава 3 Репортажи со свалки

Выросший в Сталинграде, я не очень любил этот жаркий, прижатый к Волге выжженной, сухой степью, невероятно длинный город. Между областными центрами Ярославлем и Костромой – 70 километров, а здесь один город – 90. К тому же меня всегда тянуло в леса – леса предсеверной Руси, прохладные, густые.

Термин “Предсеверная Русь” я впервые употребил в одном из сборников под коллективным названием “Любитель природы”. Я обратил внимание на такую деталь: в Ярославле областная газета – “Северный рабочий”, в Костроме – “Северная правда”, в Вологде – “Красный Север”. Все эти газеты основаны в начале XX века. Значит, в то время это был Север. За десятилетия советской власти Север обжитый отодвинулся далеко дальше – на север. Значит, эта территория – предсеверная Русь. Вот такое название я дал ей и продолжаю настаивать, что так оно и есть.

Я приехал в Ярославль теперь уже победителем, крепким журналистом. Тем более что “Волгоградская правда” в рейтинге газет котирировалась выше ярославской областной. Редактор “Северного рабочего” Иванов ходил по кабинетам Дома печати и в каждом, раскрыв мою трудовую книжку, говорил: “Вот какие нам журналисты нужны: благодарность вот за эту статью, благодарность за эту корреспонденцию”. Честно говоря, я до отъезда и не знал, что у меня столько записей благодарственных в трудовой книжке. Ну, отмечали на “летучках”, хвалили, приказы вешали “Объявить благодарность...”, но что в трудовую книжку заносили, я этого не знал.

Мне дали квартиру в центральной части города. Лёня Винников женился на той самой подруге Татьяне. Был сын Андрей и у меня. Его сразу устроили в детский сад поблизости – хороший детсад. С ним впоследствии был связан интересный эпизод. Сын уже подрос, по-моему, был в старшей группе. Как-то прихожу за ним. Бегают малышня, а я люблю детей, в молодости говорил: детей будет – футбольная команда с запасными игроками. И в пионерский лагерь поехал вожатым после первого курса университета всё по той же причине: любовь к детям и желание проверить себя как воспитателя. Не буду долго говорить о тех трёх месяцах – лет двадцать, если не больше, не мог быстро остановиться, как только начинал рассказывать: столько нового, интересного, неожиданного для меня втиснулось в эти месяцы. Лагерь был образцово-показательный. Туда каждые выходные приезжали иностранцы, какие-то наши делегаты, ну и, естественно, родители. Меня это мало интересовало, а вот сделать третий отряд (второй по возрасту среди мальчишек) дисциплинированной, сплочённой командой – к этому я стремился. Жизнь лагеря была сильно регламентирована. Как отряд утром встал, как вышел на зарядку, как шёл на завтрак и так далее, и тому подобное. А за всё – вымпелы. Как оценка жизни и поведения отряда. Так вот – из 13 вымпелов 12 почти каждый день были у отряда № 3.

После третьей смены я вернулся в общежитие. Ко мне приехала представительница Ленинградского Дворца пионеров с предложением написать книгу об опыте работы: как из расхристанной, неорганизованной толпы пацанов, в том числе трудных подростков (были у меня и такие – изгнанные из старшего отряда), удалось сделать дисциплинированный монолит с интересной жизнью. Я не знал, что назвать опытом? Ежедневные – два-три дня в начале каждой смены – тренировки за пределами лагеря умения ходить строем? Строгим, чётким строем. Проведение каждый вечер отрядной “линейки” после общелагерной. Там третий отряд хвалили, а здесь я отмечал своих героев и порицал своих нарушителей. Да и как вложить в небольшую книжку весь объём страстной жизни, которая была у меня три месяца? Я отказался, надеясь когда-нибудь написать о роли дисциплины для формирования разностороннего человека.

А тогда я пришёл в детский сад за Андреем и, проходя мимо гомонящей пацанвы, спросил: “Ребята, где Андрей Щепоткин?” То, что услышал, поразило меня. “Андрей! Щепота! За тобой папа пришёл!” – раздались крики. Я ошолбенел. Двадцать пять лет назад за 1250 километров отсюда так же звали меня, сделав из непростой фамилии такую кличку. Я обижался за неё на старших пацанов, дрался с ровесниками, но отбиться от неё не смог. Помню тёплый сентябрьский вечер, – а в Сталинграде-Волгограде эта пора чудесная: уже не жарко и ещё не холодно. Мы сидим возле нашего из старых досок забора, старшие пацаны играют в карты, мы, кто поменьше, толкаемся, слушаем их разговоры. И мне вдруг так захотелось рассказать обо всём этом многим людям, что я заявил: “Вот вырасту, пацаны, большой, напишу книжку про наше детство. Будет интересней, чем “Васёк Трубачёв”. Была такая хорошая, но, по сравнению с нашей жизнью, благообразная книга: “Васёк Трубачёв и его товарищи”. Колька Бурый, раздавая карты, между делом бросил: “Пиши, Щепота, пиши”.

Мне не удалось сделать книгу. Написал только два рассказа: “Казнь С. Разина” и “Лучше б не было того табора”. Но напутствие Бурого и кличку помнил всю жизнь. И вот за четверть века от моего детства, за тридевять земель от него другие мальчишки нашли те же звуки в фамилии сына.

Получив в Ярославле квартиру, я пошёл посмотреть её. Дом был новый, недавно стал заселяться. Делали его военные строители, а про них молва была нелестная. Настораживающая оценка подтвердилась. Я пришёл в квартиру и не пойму, в чём дело. То ли с глазами неполадки, то ли со стеной что-то не так. Стена, выходящая на лестничную площадку, стояла не прямо, а под углом, под приличным углом. Поэтому я пустил шутку: ребята, приходите, у меня можно на стене поспать.

Ну, отремонтировали, всё сделали. Начал работать. И вскоре после приезда случилось так, что мне пришлось писать фельетон.

“Леший в томате”

На границе Московской и Ярославской областей, в Переславском районе, есть (не знаю, сейчас есть или нет, скорее всего, существует) ресторан “Лесная сказка”. Он знаменит был тем, что там подавались блюда из дичи. Но это, так сказать, открытая реклама. А то, чего не знали люди, было другое. Важные гости из Москвы, попадая на территорию Ярославской области, сразу заворачивали в “Лесную сказку”. Здесь их встречали водкой, коньяком, хорошими блюдами. И уже весёлые и сытые, они ехали в Ярославль. Но расплачивалась за всё это местная птицефабрика. Я этого, конечно, не знал поначалу. Просто пришло письмо, что в “Лесной сказке” сказочно обирают, не доливают, блюда не всегда вкусные.

Я приехал туда. Два дня перед тем не брился. Прикинулся колхозным шофёром. Заказал много всего, мне принесли, в том числе водку. Я попросил официантку позвать завпроизводством. Пришёл мужчина. Я представился ему. Стали изучать, что принесли. Оказался большой недолив водки. А мясо изюбря было настолько жёстким, что я сказал: это у вас пятка лешего, а не изюбрь. Кстати говоря, так родился заголовок “Леший в томате”. Раскрутил я всё это дело. И вдруг слышу: зачем вы наш ресторан трогаете, он у нас начальственный. Так я вывалил, что за все эти обеды, ужины для руководящих гостей расплачивается местная птицефабрика.

На фельетон, конечно, обратили внимание в обкоме партии. Говорят, дошло до первого секретаря обкома партии Лощенкова. Ведь, по сути дела, я вскрыл тайную бухгалтерию.

Иванов, прочитав его, сразу поставил в номер. При этом сказал: ну, Вячеслав Иванович, нам с тобой туда ездить не надо пока, а то плюнут в борщ.

Как человеку честостлюбивому, мне нравилось, что меня и тут хвалили на “летучках”, отмечали материалы. Но я понимал, что для некоторых моих коллег это неприятно, это вызывает у них ощущение зубной боли.

Ярославщина – край особый. Здесь никогда не было никаких нашествий. В отличие от, скажем, Смоленской земли, через которую прокатывалось каждое нашествие, оставляя следы в языке. Здесьнюю губернию только польская интервенция задела краем. Это когда отряд поляков пошёл в Кострому и, как известно, Сусанин завёл их в болото. Будучи закрытым от внешних врагов,

Ярославский край, я бы сказал, был очень самолюбивым и даже самовлюблённым. И было отчего. Здесь существовала своя Красная площадь. Здесь был свой Кремль — монастырь, в котором Мусин-Пушкин нашёл “Слово о полку Игореве”. Здесь был открыт первый в России профессиональный театр, созданный Фёдором Волковым. Здесь начал издаваться первый в России провинциальный журнал “Уединённый пошехонец”, благодаря указу Екатерины II и стараниям наместника. Я уже не говорю о том, что в Ярославле и области была высокоразвитая промышленность. И потому в Ярославль, как, скажем, в Москву из других городов страны рвались люди, так и здесь многие мечтали всеми правдами и неправдами из районов области перебраться в областной центр. Особенно журналисты. Работая в районных газетах с их, в лучшем случае, средним уровнем журналистики, эти люди, попадая потом в “Северный рабочий”, привносили с собой и районный стиль, резко отличающийся от стиля многих областных газет. Поэтому, когда меня хвалили, вывешивали материалы на Доске лучших, я видел их “дружелюбные взгляды”. И впоследствии эти серые, тусклые, но агрессивные в своём убожестве “коллеги по случаю”, постарались отомстить мне, когда началась моя борьба против несправедливых обвинений.

Разгром

Отдел быта в каждой газете — это кладёзь тем для сатириков и фельетонистов. У одного течёт крыша, у другого разваливается дом, у третьих не работает отопление, четвёртые ездят по разбитой дороге и так далее. Но я не увлекался особенно, по крайней мере старался не увлекаться именно критическими материалами. Писал и о хорошем: о людях интересных, о делах их. Я уверен, что хороших больше, чем плохих. Да и хорошего в жизни, как правило, больше, чем плохого. Правда, смотря в какую эпоху. Нынешнюю эпоху я так оценить не могу.

Я писал фельетоны о том, что плохие бани в Ярославле, о том, что вырубают парк, о том, как ремонтируют дороги зимой и прямо в лужи кладут асфальт, лишь бы деньги списать. Вот так попалась тема, я бы даже сказал, не попалась, а мне её дали, из одного района, где руководители завода стали строить свои дачи из отпускаемых предприятию материалов. Сигнал об этом расследовал областной комитет народного контроля. Факты подтвердились, все виновные признали их. Мне, по сути дела, и проверять не пришлось. В своих объяснительных записках виновники прямо писали: да, мы брали материалы, мы заплатим деньги за них, больше так делать не будем. Я написал фельетон. Факты, изложенные в нём, признал правильными райком партии. Виновные получили взыскания.

Но потом, как мне сказали, на первого секретаря обкома партии Лощенкова вышла то ли его родственница, то ли давняя знакомая, причастная к этой истории, и заявила, будто все герои фельетона не виновны. В областном комитете народного контроля сначала посмеивались над попытками выдать чёрное за белое. Однако увидев желание руководителя области оправдать нужных людей, сменили свою позицию и, как будто не было нескольких папок прежних документов, стали готовить новые. Чтобы доказывать, будто я клеветал невиновных.

Это было тяжкое время. Я ездил на своём “Москвичонке” в пургу по занесённым снегом дорогам области. Мне помогал найти нужные документы отчаянный старик-правдоискатель Леон Саулович. Были сторонники в редакции, однако, к сожалению, дома поддержки не находил. От меня требовали пойти покаяться, чуть ли не на колени встать и просить прощения. Такую позицию, наверно, понять можно. Остаться без работы, по сути, в чужом городе — не радостная перспектива. Понять можно, но принять нельзя. Поэтому, разумеется, для меня это было противоестественно.

Дело вышло на уровень центральной прессы. Собкор “Правды” Зоя Быстрова съездила в Москву в свою редакцию к правдинскому фельетонисту Илье Шатуновскому. Показала материалы и фельетон. Он сказал: “Так тут же всё правильно”. Редактор отдела фельетонов газеты “Известия” Владимир Надин написал справку с приложением всех документов для главного редактора “Известий” Алексеева. Тот прочитал все материалы, фельетон и сказал: “Они же так разворуют всю страну”.

Тем не менее в Ярославле чёрного кобеля, засучив рукава, старательно отмывали добела. Активно толкали колесо несправедного оправдания обиженные мной председатели гор- и райисполкомов. Вносили свою лепту дождавшиеся счастливого часа завистливые коллеги “районного разлива”. Но больше всех, пожалуй, радовался секретарь обкома партии по идеологии Николай Иванович Мялкин, ибо незадолго до моего приезда в Ярославль здесь произошла интересная история, одним из героев которой был как раз Николай Иванович. Там должна была состояться отчётно-выборная областная партийная конференция. На такие конференции всегда приезжал крупный функционер из ЦК партии. А здесь была придворная губерния, да ещё возглавляемая щедрым “царём” Фёдором Ивановичем Лощенковым. Поэтому приехали даже не один, а два солидных партийных туза. Но никто не знал из них, что на этой конференции группа членов бюро обкома партии решила дать бой Лощенкову и попытаться его сместить. Пример Хрущёва, наверное, вдохновлял, да и партийные уставы позволяли такое сделать.

Среди заговорщиков оказались первый секретарь Рыбинского горкома партии, тогдашний председатель областного комитета народного контроля, ряд других членов бюро обкома. Весомым был, конечно, первый секретарь Рыбинского горкома. Его город – второй по численности населения в области, с могучей военной промышленностью, всё время стоял как бы особняком.

Когда началась конференция, оппозиционеры-заговорщики стали выступать. В зале наступила тревожная тишина, ибо такого никогда ещё не было. Оппозиционеры говорили о том, что Лощенков оторвался от масс, что он не знает, как правильно вести партийную работу, что он упускает из виду важные направления хозяйственной деятельности области. И каждый выступающий добавлял свою дозу обвинений. Среди делегатов уже началось немножко волнение. Некоторые засуетились, готовые поднять руку для выступления, чтобы оказаться в числе первых будущих победителей.

Но тут на трибуну вышел редактор газеты “Северный рабочий” Александр Михайлович Иванов, крепкий, коренастый, с крупной головой, на которой дыбом стояли седые курчавые жёсткие волосы. Местный поэт, широко известный в Ярославле такой эпиграммой: “Как увижу ту Галину, сердце бьётся о штанину”, – написал эпиграмму и на Иванова: “Идёт кряжистый, волевой, как будто хочет пукнуть головой”. Иванов был никудышный поэт, его печатали только потому, что он редактор газеты. Зато Александр Михайлович был ловкий царедворец. Он напористо заговорил о том, что критика этих товарищей, которых ему и товарищами трудно называть, огульная и несправедливая. Фёдор Иванович Лощенков – достойный руководитель, он хорошо ведёт область, которая при нём развивается успешно. Ну, и как опытный оратор Иванов разнёс их в пух и прах, называя недостатки у них самих. Оппозиционеры с надеждой смотрели на Николая Ивановича Мялкина, секретаря обкома партии по идеологии, ибо он был их лидером. Он должен был выступить с самыми весомыми обвинениями. Однако Мялкин молчал и пусто глядел куда-то на верх занавеса.

Почему он струсил? А произошло следующее. Незадолго до партконференции Лощенкову пришла анонимка, в которой говорилось о том, что Мялкин за счёт завода “Красный маяк” сделал хороший ремонт своей квартиры и даже вроде бы расписал стены кухни лебедями. Лощенков вызвал его, показал анонимку. Мялкин упал на колени, сказал, что он всё понял и будет дальше исправно продолжать совместную работу. В итоге Лощенков покался, сказал, что он учтёт дружескую критику товарищей, что он допущенные ошибки, если они есть, а они есть, конечно, как у каждого, исправит и будет дальше дружно работать со всей командой. Как вы понимаете, в ближайшее время после партконференции все, кто был оппозиционером, кто был даже близок к ним, потеряли свои места и ушли в небытие. На своём посту остался только Мялкин. Но роль своего идеолога области он потерял. Зато возвысился Александр Михайлович Иванов. Он вообще на Мялкина даже не обращал внимания. Так что-то, если по мелочам надо согласовать, то ради бога.

Я однажды был свидетелем его разговора с Мялкиным по телефону. В номере стоял критический материал о филармонии. Мялкину пожаловался, видимо, директор филармонии, и тот позвонил Иванову, сказал, что материал надо снять. Иванов поблагодарил, а у него это было всегда признаком ярости и гнева, и закричал: “Да пошёл ты...”. И послал его на весь русский алфавит. Один этот факт уже говорил о том, кто кому хозяин.

И тут, пожалуйста, фельетон, который опубликован в газете, и он оказался “клеветническим”. И Мялкину было, конечно, не до ошибки Щепоткина, ему было важно, что ошиблась газета, руководимая Ивановым. И он потирал руки, ожидая, что скоро Иванова удастся сковырнуть. Но заодно Мялкин с удовольствием и наказал бы, разгромил бы меня. Некоторое время назад в одном из фельетонов, не называя его фамилии, я написал: “Это же вам не кухню расписывать лебедями за счёт завода...” Газету ему, конечно, показали. Узнал он, кто это написал. И поэтому заодно и Иванова, и меня решил растоптать.

Иванов, надо сказать, не зря был виртуозом хамелеонства. Он объявил, что я его обманул, хотя он читал и документы, и фельетон ещё до публикации, что я подвёл газету и такое нельзя безнаказанно оставлять. Мне объявили строгий выговор с занесением в учётную карточку, уволили из редакции. При этом многие, в том числе и близкие люди, по-прежнему требовали, чтобы я покаялся, встал на колени. Я сказал: “Нет, этого не будет ни в коем случае”.

После увольнения я пришёл в сектор печати обкома партии. Заведующим там был Валера Тихонов, который до того работал редактором молодёжной газеты “Юность”. У нас были нормальные отношения, мы были товарищами. Я ему говорю: “Валера, а нет ли места хотя бы где-нибудь в многоотиражной газете?” Он за столом напыжился, даже как бы поднялся ростом и, глядя куда-то мимо меня, сказал: “У нас для вас места нет нигде”. Полгода потом шла моя борьба от инстанции к инстанции в области, от райкома к горкому, от горкома к обкому. Все оставалось по-прежнему. Но когда в газете опубликовали, что я оклеветал людей, что всё это неправда, начались звонки. Люди говорили: “Вячеслав Иванович, мы не верим этому, не может этого быть”. Я говорил: “Не верьте, всё это ложь, всё это брехня”.

После полугода борьбы мне устроили встречу с главным редактором “Правды” Виктором Афанасьевым. И тут весь процесс остановился.

Пошла команда в Ярославский обком партии: всё прекратить и дать журналисту работу. Мялкин, тот самый Мялкин, позвонил председателю телерадиокомитета Герману Баунову и сказал: “Возьми Щепоткина”.

Герман принял меня. У нас были немножко странные отношения. Мы друг друга знали как Гера, Слава, а тут на летучках, на официальных собраниях пришлось говорить с именами и отчествами. Но это, так сказать, пустяки. Мне выдали диктофон, увесистый такой ящик размерами с приличный чемодан. Я его повесил на плечо и поехал в командировку в Любимский район. Выйдя за городишко, в поле записал голоса жаворонков в небе, потом вернулся и начал знакомство с районом с местного краеведческого музея. Они все, как правило, похожи друг на друга. В каждом есть или кусок бивня мамонта, или ещё что-нибудь ископаемое, есть стенды с древними и старыми деньгами. Особенно много их бывает из Екатерининской эпохи. Я ходил от стенда к стенду, смотрел на портреты известных земляков. Портреты были выпучены от времени. Вдруг на одном стенде я увидел слово “Известия”. И остановился. Читаю: “Иван Михайлович Гронский, бывший главный редактор “Известий”. “Известия” оставались для меня всё время дорогой газетой. Тем более незадолго до этого погрома я уже рассматривался в качестве корреспондента газеты во Владивосток. Теперь, конечно, это дело отодвигалось. На сколько? Неизвестно.

Я прочитал на стенде немного об Иване Михайловиче Гронском. Себе сказал: “Надо будет съездить в Москву, поговорить со стариком. Наверное, что-нибудь интересное он расскажет”. Я тогда ещё не знал, что у нас встреч будет много, что я запишу не один разговор с Иваном Михайловичем, что он будет писать мне письма в Казахстан, что потом я подтолкну руководство газеты к тому, чтобы отметили торжественно его 90-летие.

Об этом человеке надо сказать немного подробнее.

Гронский, Маяковский, Алексей Толстой

Настоящая его фамилия Федулов. Родом он из Любимского уезда Ярославской губернии, той губернии, которую я однажды назвал губернией полковых и полководцев. Дело в том, что южные уезды тяготели к Москве. И оттуда шли в полковые, то есть в официанты, в рестораторы, владельцы трактиров,

причём тракторов не только рядовых типа забегаловок, а элитных. А северные уезды тяготели к Петербургу — к тамошним заводам. И отсюда вышли адмирал Ушаков, генерал Толбухин, другие военные деятели.

Отец Ивана Михайловича, как многие, побывав один, второй, третий раз на заработках в Питере, остался там. Ввязался в революционную борьбу, вступил в партию эсеров-максималистов. Через некоторое время туда приехал и сын, который тоже начал потихоньку втягиваться в революционные дела, тоже вступил в партию эсеров-максималистов, которую покинул в 1918 году, вступив в большевистскую партию. Во время Первой мировой войны Иван Михайлович воевал, был на фронте, за храбрость награждён Георгиевским крестом. Но при этом уже активно вёл пропаганду в войсках, был председателем солдатского комитета. После революции, по его словам, не раз встречался с Лениным. Тот первый раз направил его в Курскую губернию, потом в Коломну. Кстати говоря, в начале 30-х годов популярность Гронского была такой, что его именем называли колхоз в Курской области и стадион в Коломне. Даже остров в архипелаге Новая Земля имел имя Гронского. Но это до того, как его репрессировали.

В начале 20-х годов он поступил в институт красной профессуры, после которого был направлен в “Известия” заместителем главного редактора Скворцова-Степанова. Когда тот умер, Гронский занял его место. И вёл дело так, что, по его словам, Сталин чаще ориентировался на “Известия” Гронского, чем на “Правду” Радека. Ну, Радек был ещё тот фрукт, ещё та корявая фигура. Я в повести “Разговор по душам с товарищем Сталиным” приводил такой факт. После революции возникло движение “Долой стыд!” Радек активнейше поддержал его и даже лично участвовал в акциях. Однажды он возглавил на Красной площади 10-тысячную колонну абсолютно голых комсомольцев и комсомолок. Эти обнажённые мужчины и женщины несли над колонной транспарант “Долой стыд!” Впереди шёл не отличающийся от других Радек. Судьба этого скверного человечка, по свидетельству современников, вороватого, скользкого, оказалась незавидной. В “Известиях” Гронский встречался со многими известными в ту пору людьми и с людьми, набирающими известность. А за пределами газеты он имел поручения от ЦК ВКП(б) быть как бы связным между руководителями партии и творческой интеллигенцией. Поэтому в его квартире постоянно собирались писатели, художники, артисты. Вот так он часто встречался с Маяковским.

Маяковский писал об “Известиях”: “Люблю Кузнецкий, простите грешного, потом Петровку, потом Столешников. По ним в году раз сто иль двести я ходил из “Известий” и в “Известия””.

Гронский спрашивал меня: “Ну, как Вы думаете, к кому он мог ходить столько раз? Я был главным редактором, у меня был заместитель, который занимался другими делами. Мы часто с Маяковским беседовали, гуляли. И он мне читал новые стихи. Говорили с Маяковским о жизни”.

В одну из таких встреч с Гронским, когда я приехал к нему в Москву, Иван Михайлович мне рассказал о причине самоубийства Маяковского. Я до того, кстати говоря, и не слышал об этом.

Лиля Брик, злая фурия Маяковского, которая организовала тройственный любовный союз, или треугольник — её муж, Владимир Маяковский и она, — очень не хотела отпускать поэта. Они в общем-то жили за его счёт. Однако её родная сестра Эльза Триоле, которая жила во Франции, однажды познакомила Маяковского с находившейся там российской женщиной Татьяной Яковлевой. Это была красивая молодая женщина, любимица модельера Кристиана Диора, поскольку демонстрировала созданные им наряды. И Яковлева, и Маяковский, по словам Ивана Михайловича, “прониклись друг к другу чувствами”. Проще говоря, понравились друг другу. А Маяковский влюбился в неё. Говорят, когда они входили в какое-нибудь кафе, люди не могли сдержать восторженных улыбок — настолько это была красивая пара.

Но Маяковский, пробыв в Париже около месяца, должен был уехать в Советский Союз. Уезжая, он оставил в цветочной лавке большую сумму денег, чтобы его любимой, пока его нет, каждый день приносили цветы.

Через некоторое время стал собираться в Париж, чтобы встретиться с Татьяной Яковлевой и жениться на ней. Однако, по некоторым сведениям, “треугольная” дама Лиля Брик сделала всё, чтобы поэту не разрешили выехать — кормушка-то могла закрыться.

А пока его не было, Татьяна увлеклась молодым французским бароном и согласилась выйти за него замуж. В тот день, на который была назначена в Париже свадьба, Маяковский в Москве застрелился.

Кроме Маяковского Иван Михайлович и прятельствовал, и официальные имел контакты со многими другими литераторами. Он мне рассказывал историю создания романа “Пётр Первый”.

В конце 20-х годов, по-моему, в 1928-м Алексей Толстой написал пьесу “На дыбе”. Это о Петре Первом и о его времени. Гронский говорит: я посмотрел её и был возмущён. При первой же встрече с Толстым он ему высказал: “Вы неверно трактовали образ Петра. Вы показали его разрушителем, человеком, который кромсает, всё ломает, убивает всех, а на самом деле он был преобразователем. И его деяния, конечно, никак не укладываются в понятие “На дыбе”, которое Вы дали пьесе. Он не на дыбу поднял Россию, он поднял её к новым высотам. Поэтому, наверное, надо бы написать другую вещь. Напишите роман”.

Через некоторое время, как говорил Гронский, появился роман “Пётр Первый”. В нём царь выглядит уже совсем другим государственным деятелем.

Уже работая в “Известиях”, в Казахстане, я получал от него письма. Почерк ровный, но немного буквы как бы дрожачие.

“Уважаемый Вячеслав Иванович! Прочитал Вашу статью на месте передовой. (А мы тогда ввели рубрику “Заметки публициста”.) Очень хорошо. Это говорит о том, что Вы – ведущий журналист газеты”. И так было несколько раз.

В 1984 году, когда приближалось его 90-летие, я позвонил в редакцию и сказал: “Ребята, надо бы отметить юбилей Гронского. Всё-таки это был один из первых руководителей нашей газеты”. Кстати говоря, однажды в разговоре за чашкой кофе во время моего очередного приезда в Москву я высказал такую мысль: почему бы нам не повесить портреты всех главных редакторов “Известий” там, где кабинеты руководителей газеты, в коридоре. У нас столовая и буфет были на втором этаже – его я назвал “кормным”. А на третьем – все кабинеты руководителей. Это, по моему определению, “кормчий” этаж. Вот там я и предлагал повесить портреты. Время прошло – идея была реализована.

А насчёт юбилея Гронского – тоже получилось, и неплохо. Ивана Михайловича пригласили в “Известия” – привезли на машине главного редактора. Сделали ему пышный приём в честь 90-летия и подарили специально выпущенный номер газеты с поздравлениями знаменитых журналистов. В том числе, “известинцев” разных поколений.

Репортажи со свалки

На радио я пробыл недолго. Уж если сослали, то надо выбирать что-нибудь более подходящее душе. Я стал поворачиваться к телевидению. Когда я приехал первый раз в Ярославль и мне отказал Иванов в приёме в газету, я пошёл на местное телевидение. Работавшие там люди говорят: ну, попробуйте, сделайте что-нибудь, чтобы мы знали, на что вы способны. Мне дали кандидатуру для передачи. Это был Герой Советского Союза, получивший звание за форсирование Днепра. Я с ним встретился не один раз, записал на диктофон его рассказ. Сам изложил часть его истории. Написал песню. В передаче её сам исполнил под гитару. И, как мне сказали, передача получилась неплохая. Однако руководитель областного телерадиокомитета связался с Ивановым, и тот рассказал ему о причинах отказа мне. Дело в том, что между Ивановым и Подлипским шла ожесточённая война. И редактор решил, что приветивший молодого способного сотрудника Подлипский усилит свои позиции в этой войне. Естественно, что редактор газеты и глава телерадиокомитета были единомышленниками. Поэтому и на телевидение меня тоже не пустили.

Теперь я уже был с другим именем, с другими возможностями, но после фельетона снова отверженным. Тем не менее я работал уже официально в телерадиокомитете и начал прибывать к телевидению. Местное телевидение вещало всего час времени. Это был промежуток времени и для информации, и для различного рода передач – экономических, культурных, каких-то

событийных. Я стал делать сюжеты и тут же приглядываться быстро к работе профессионалов этого дела. И с удивлением заметил, как я потом говорил, что тут они все гении. Осветитель – гений, оператор – гений, ассистент режиссёра – гений, помощница режиссёра – гений, а режиссёр – вообще гений. Словом, куда ни глянь – одни гении. Я встал на место оператора, за камеру, посмотрел, что и как. Изучил, как записывается звук. Поработал на монтаже, попробовал сам склеивать плёнку. Короче говоря, прошёл все этапы. Теперь я знал, что и как делается и примерный уровень мастерства каждого “гения”. Поэтому в полушутливом тоне заявил: я за демократию, но когда она у меня в кулаке.

Это был скорее придуманный красивый лозунг, нежели руководство к действию. Наоборот, я готов был спорить и убеждать, отстаивая свою точку зрения.

Постепенно от сюжетов стал переходить к целым передачам. А программы шли тогда не в записи, а в прямом эфире. Как это было трудно, я понял позднее, когда мы стали передачи записывать. И вот сидит группа сотрудников, тут же – приглашённые участники передачи; смотрим, что получилось, и я, к стыду своему, чувствую, что засыпаю в кресле от усталости.

В то время стал популярным призыв “Экономика должна быть экономной”. Ну, это, конечно, немного звучит странно, хотя для советского времени, может быть, было и нормально, ибо не было ни хозяев, ни богатства, ни собственности у них. Положение довольно иронично отражал слоган: “Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё”. Это означало, что ничьё. Отсюда шла бесхозяйственность. И власти озаботились такой “неэкономной экономикой”. Мне приходилось основательно знакомиться с делами того или иного предприятия, которое я собирался показать и какие-то моменты покритиковать, не согласиться с руководством завода или комбината. Помню, не раз удавалось убедить руководителей предприятий в том, что происходящее у них неправильно и его нужно менять. И некоторые мои коллеги удивлялись, как это может быть такое? В прямом эфире директор завода говорит: “Да, Вы правы, вот здесь у нас плохо, и мы это изменим”.

Однажды наше внимание привлекла свалка разных отходов. Сначала кто-то подсказал, потом пришло письмо о том, что на городскую свалку выбрасывается много добра. Я поехал туда со съёмочной группой. То, что мы увидели, нас поразило. Лежали ящики с шоколадом, даже не распечатанным. Валялись большие коробки с банками краски. Грудилось много других ценных вещей. А в магазинах не всё можно было найти.

Я показал и прокомментиrowал увиденное в первом репортаже. На следующей неделе мы снова поехали туда, и снова репортаж с этой же свалки.

Надо сказать, передача вызвала большой интерес у зрителей. Местное телевидение вообще в почёте у людей того или иного региона. Знакомые адреса, знакомые заводы, знакомые улицы. Все смотрят этот час. Что такое час? Посидел, посмотрел, что-то узнал интересное. А тут, пожалуста, такое разгильдяйство, такое разбазаривание, когда в магазинах не всегда купишь ту же краску. Шум поднялся необыкновенный. Как мне потом сказали, передачу, видимо, вторую передачу, потому что она была анонсирована, посмотрел первый секретарь обкома партии Лощенков. И говорят, в гневе воскликнул: “Опять этот Щепоткин! Да ещё с бородой!” Лощенков терпеть не мог бородатых, считал их анархистами, от которых все беды и неприятности. А я к тому времени отпустил бороду, ну, не лопатой, а так, бородёнку.

Я решил, что самое лёгкое – это сбрить бороду. А реакция его мне напомнила ту, про которую рассказывали раньше, когда он прочитал мой фельетон “Идите в баню!”. Говорят, Фёдор Иванович долго не мог найти на селекторном телефоне нужную кнопку, чтобы вызвать начальника областного коммунального хозяйства. Наконец, нашёл и закричал: “Это что, правильно Щепоткин пишет, что в баню к нам без резиновых сапог не зайти, что там может штукатурка обрушиться на головы?” Ну, начальник мямлил-мямлил что-то... Дело стало меняться. Начали основательный ремонт. Теперь вот открыл глаза на свалки. Изменилось там что-нибудь, не знаю. Скорее всего – ничего, потому что проблема свалок разрослась к нынешнему времени в проблему государственную.

А я вскоре из Ярославля уехал. Меня назначили корреспондентом “Известий” в Казахстан.

Глава 4

Имя Святого возвращается на свое законное место

Работая в Ярославле, я довольно часто бывал в Москве. Оттуда отправлялся с друзьями на рыбалку в Астраханскую и Волгоградскую области, на охоту в Московскую область, Тверскую, Владимирскую. Через Москву ездил на Северный Кавказ и на свою родину в Волгоград на машине. И дорога всё время проходила через город Загорск. Городок компактный, не очень большой, хотя в Загорском районе было довольно много крупных предприятий, в том числе военно-промышленного комплекса. И населения в районе было под четверть миллиона. По европейским меркам это крупный город.

Проезжая через Загорск, я, да и многие люди, думали: вот как удачно назвали. Потому что примерно после середины пути дорога начинала нырять и подниматься на холмы, нырять и подниматься. То есть едешь как будто по горам. Не крутые горы, небольшие, но тем не менее спуски, подъёмы. И вот, думаю, как раз за горами появляется городок. Лишь потом узнал, что это Клинско-Дмитровская гряда, часть Московской возвышенности. Длина её где-то 200 километров, ширина 40 километров. Начинается, естественно, в Клинском районе, проходит через Дмитровский, юг Ярославской области, через Сергиево-Посадский район Московской области и заканчивается на Владимирском ополье. И тогда же мне стало известно, что город назван совсем не из-за гор. Назван он в честь революционера Владимира Михайловича Загорского. Я не слышал раньше о нём, поэтому стал интересоваться, кто такой?

Настоящая его фамилия Лубоцкий Вольф Миселевич. Оказалось, что этот человек к городу нынешнему — Загорску — не имеет никакого отношения. Он даже не был здесь. Родился и вырос в Нижнем Новгороде, дружил с Яковом Свердловым, вместе вступили в революционную борьбу. Причём, если Свердлов довольно активно, то этот — так себе. Рано эмигрировал за границу и больше жил там, чем в России.

А город назывался издавна Сергиев Посад. Такое имя за ним было закреплено реформой Екатерины II, когда она утверждала губернии, города, местничества. Хотя и до этого он был Сергиевым Посадом. Назван по имени Святого Сергия Радонежского — основателя одного из первых русских монастырей, из которого вырос духовный центр России, знаменитая Троице-Сергиева лавра. Сергей Радонежский был значительной фигурой в русской истории. Именно к нему приезжал московский князь Дмитрий Иванович, впоследствии названный Донским, за благословением на битву с татарами, которые в очередной раз двинулись на Русь. Это было в 1380 году. Сергей не только благословил князя на святое, как он сказал, дело. Он дал ему двух монахов — Александра Пересвета, который был боярского рода, и Родиона Ослябю. Войска русских и татар встретились на Куликовом поле. Как тогда полагалось, перед началом битвы первыми вступали в схватку по одному богатырю от каждого войска. От русских выступил Пересвет. Он сразился с татарским богатырём Челубеем. Они убили друг друга. Но жертва Пересвета была не напрасной — русские в Куликовской битве победили.

Кстати говоря, сегодня в Сергиево-Посадском районе имя монаха-героя увековечено. Здесь есть город Пересвет, который раньше назывался Новостройка. Ну, прежде такое встречалось повсеместно. Вроде для того, чтобы уберечь населённые пункты с предприятиями ВПК от иностранных разведок, их называли то Новостройкой, то Фермой-3, то Фермой-5 и другими подобными именами.

Сергий Радонежский известен в нашей истории ещё и тем, что был активным сторонником собирания разрозненных русских княжеств под одним, скажем так, “крылом”. Каждый владетель удельного княжества жил обособленно. Нередко сосед воевал с соседом, а то и брат с братом. Когда же возникла серьёзная внешняя опасность, они не смогли противостоять ей. Каждого захватывали поодиночке.

Сергий раньше других понял, что спасение Руси — в ликвидации удельной разрозненности. Ещё в 1365 году, когда суздальский князь Борис захватил Нижний Новгород, принадлежавший его старшему брату, Сергей Радонежский взялся за восстановление порядка. А какое у него было “оружие”? Слово. Оно не раз приводило к нужным результатам. Он стал убеждать Бориса

вернуть город и помириться с братом. Тот заартачился: мол, кто ты есть, чтобы я слушал твои советы? Старец из монастыря?

Тогда Сергей Радонежский впервые применил, скажем по-нынешнему, “мягкую силу”. Утром князь проснулся от непривычной тишины. Ни один колокол в церквях не звонил. По просьбе Сергия Радонежского храмы были закрыты. Зловещая тишина испугала князя. Он понял, что надо послушать советов старца. Мир был восстановлен, Нижний Новгород возвращён брату.

Также в 1385 году он усмирял князей Олега Рязанского и Дмитрия Ивановича Донского. Пешком отправился из Москвы в Рязань, а ему уже было много лет. И, как говорит летопись, мудрым, добрым словом Сергей убедил воинственного Олега Рязанского стать союзником московского князя Дмитрия Ивановича.

А объединение русских земель Сергей видел только вокруг Москвы, которая становилась всё влиятельней и мощнее. Его идеи, как показало время, оказались жизненными.

Но вернёмся к названию города. Вокруг основанного Сергием монастыря начали селиться люди. Поселения разрастались, соединялись. Со временем стали называться Сергиев Посад. Это название, уже города, как я говорил, утвердила Екатерина II. И с таким именем он жил до 1919 года, когда большевики, ломая всё, что было до них, убрали из названия слово “Посад”. Город стал просто Сергиев.

А в 1930 году сняли и историческое имя Святого. Назвали Загорском. Вроде как по просьбам трудящихся. Какие трудящиеся могли знать и помнить мимолётное имя случайного для истории человека? Чем он прославился? Что сделал значительного, да хотя бы просто заметного для страны и города, которому дали его партийный псевдоним?

Загорский, как уже говорилось, был близким приятелем и активным соратником одного из самых жестоких и кровожадных деятелей российской революции Якова Свердлова. Именно Свердлов, как сообщали разные источники, стоял за убийством царской семьи. Именно он подписал документы, на основании которых были уничтожены миллионы людей. Сначала – об объявлении “Красного террора” за покушение на Ленина некоей эсерки Фанни Каплан. Хотя с самим покушением было много мутного и загадочного – слепая террористка могла различать только силуэты людей и не подходила для прицельной стрельбы в конкретного человека. Однако Свердлов немедленно объявил, что не сомневается в её виновности. Каплан тут же в Кремле расстреляли, тело, облив бензином, засунули в смоляную бочку и сожгли. Чтобы никаких следов. А Свердлов, одетый, по словам Троцкого, с ног до головы в чёрную кожу: сапоги, штаны, куртка, фуражка, сразу занял ленинский кабинет, стал подписывать за Ленина документы и никого к этому не подпускал. Видимо, не без оснований появились подозрения, что он хотел отнять власть у вождя.

Считается, что в новейшей истории два народа подверглись массовому истреблению. Это – евреи и армяне. Разные историки, в том числе еврейские, называют различные цифры уничтоженных гитлеровцами евреев. Некоторые – меньше общепринятой. Однако за основу принята цифра около 6 миллионов. Это большая трагедия для народа, который назвал такое истребление Холокостом – то есть Всесожжением, Катастрофой.

Точное количество армянских жизней, унесённых геноцидом, тоже подсчитать не удаётся. Говорят, этому противилась и противится до сих пор Турция. В ходу цифра около полутора миллионов.

Но есть ещё один народ, или, если хотите, часть народа, который подвергся такому массовому и зверскому уничтожению по указанию тогдашней власти, что у тех, кто соприкасается с описанными фактами, как говорится, кровь стынет в жилах. Это многонациональное российское казачество, основная масса которого – русские. “Казачи, – говорил Троцкий, – единственная часть русской нации, способная к самоорганизации”. И вот эту пассионарную часть приказал уничтожить Свердлов. 24 января 1919 года Оргбюро ЦК партии большевиков приняло директиву, подписанную Свердловым, которую сразу называли “Декретом о расказачивании”. Она начиналась так:

“Учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:

провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью.

К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны новых выступлений против советской власти”.

Директива, кроме того, предписывала реквизицию хлеба и вообще всех сельскохозяйственных продуктов, а также скота, лошадей. Таким образом те, кто уцелел от расстрелов, от сжигания в домах станиц и хуторов, обрекались на неминуемую голодную смерть.

Впрочем, таких “счастливых” было немного. По свидетельствам оставшихся в живых, расстреливали без суда и следствия за всё подряд. Если нашли не сданное оружие – расстрел владельца и родственников за то, что не донесли. Дом сжигали. Если нашли припрятанный хлеб – расстрел. Как свидетельствуют остатки сообщений, ещё встречающиеся в интернете, в день расстреливали в станицах по 60–80 человек. Почему я говорю “ещё встречающиеся в интернете”, потому что идёт планомерное переписывание истории путём её подчистки. Лет 35–40 назад можно было встретить немало доступных свидетельств о “Казачьем Холокосте”, как назвали “расказачивание” и его жуткие результаты историки. Теперь – редкие упоминания. Зато всё активнее внедряется благостная цифирь, в десятки раз, а то и больше, искажающая в сторону уменьшения масштабы “казачьей Катастрофы”. Их авторы говорят, что никакого расказачивания и “поголовного истребления” не было, что это, по мнению историка Л. Футорянского, “просто фантастика”.

Но тогда обратимся к цифрам. В 1916 году в 11 казачьих войсках России и нескольких отдельных полках было 6 миллионов 281 тысяча казаков. Из них в войске Донском – 1 миллион 495 тысяч, в Кубанском – 1 миллион 367 тысяч, оренбургских казаков – 533 тысячи, забайкальских – 265 тысяч, терских – 255 тысяч, сибирских – 172 тысячи, уральских – 166 тысяч. А там ещё казаки семиреченские, астраханские, енисейские, амурские...

За первые четыре года “расказачивания” донских и кубанских стало меньше в два раза, оренбургских – в два с лишним раза, уральские казаки были уничтожены почти полностью, их осталось 10 процентов, число терских казаков сократилось на 60 с лишним процентов. В других войсках осталось в лучшем случае не больше 25 процентов.

В результате складываются страшные цифры. Одни называют два с лишним миллиона. Другие – до четырёх. Больше армянского геноцида!

В новой работе Станислава Куняева “К предательству таинственная страсть”, которую он публикует в журнале “Наш современник”, во 2-м номере за 2021 год приводятся цифры и факты из книги знаменитого советского математика и публициста Игоря Шафаревича “Трёхтысячелетняя загадка”. Цитируя директиву Свердлова о расказачивании, Шафаревич пишет: “Все эти меры энергично осуществлялись, о чём есть много свидетельств. Проходили массовые расстрелы. В итоге расказачивания численность донских казаков сократилась с четырёх с половиной миллионов до двух миллионов. Результатом в марте 1919 года стало Верхне-донское восстание. В борьбе с ним Реввоенсовет 8-й армии указывал:

“Уничтожены должны быть все, кто имеет хоть какое-то отношение к восстанию и противосоветской агитации, не останавливаясь перед процентным уничтожением населения станиц, даже без ограничения пола и возраста.

Подписи:

Реввоенсовет 8-й армии

Якир, Весник”.

Значит, уничтожать женщин, стариков, детей? Невольно задумаешься: не Божье ли наказание настигло многих из этих нелюдей во время так называемого “Большого террора”?

Я не знаю, откуда Игорь Ростиславович Шафаревич взял приведённые им цифры. Вполне вероятно, он имел в виду численность всего казачьего населения донской области, где карателям было приказано при проведении репрессий не считаться ни с полом, ни с возрастом жертв.

А я взял сведения из работы исследователя Ильи Рябцева, который приводит первоначальную численность чисто казачьих войск и что от них осталось.

А какое же количество казачьих жертв называет историк Леонид Футорянский? За вторую половину 1918 года, когда начался объявленный Свердловым “красный террор”, и за следующий год, открытый его же директивой о расказачивании, число расстрелянных красными на территории Войска Донского, Кубанского и на Ставрополье составило 5598 человек. Из них на Дону расстреляно “всего-навсего” 3442 человека. Однако и эти цифры Футорянский считает преувеличенными, потому что, дескать, они не имеют документального подтверждения.

Документов на этот счёт, действительно, не хватает. Но по одной, главной причине: весь террор творился без суда и следствия. То есть без документального оформления. Да и какие документы могут быть, когда в станицу или на хутор врывается банда карателей и мародёров? Только изустные рассказы очевидцев о неописуемых зверствах на казачьей земле. О том, как старику, назвавшему карателей мародёрами, вырезали язык, прибили гвоздями к подбородку и так водили по хутору, пока он не умер. Или как священника в станичной церкви “венчали” с кобылой, а потом “вусмерть пьяные” заставили попадью и священника плясать перед этой бандой. Или о гибели сотен девушек-казачек, которых забрали для рытья окопов, изнасиловали, а когда к станице приближались восставшие казаки, расстреляли перед окопами.

Слова директивы о “поголовном истреблении” трудно отнести к лексикону нормальных людей. Это больше подходит к речам немецких фашистов, их идеологов и палачей, требовавших поголовного истребления разных “недочеловеков”.

Тем не менее отношение Свердлова к казакам не было исключением для высших представителей тогдашней власти. Троцкий считал, что казаки — это “зоологическая среда, и не более того”. Первый советский главком Иоахим Вацетис, который командовал Красной армией с сентября 1918 года по июль 1919-го, сразу после принятия свердловской директивы писал в “Известиях”: “Мы будем совершенно правы, если скажем, что нет более в мире такого исторического суррогата, как казачество. А донское в особенности... Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от приличного вида культурного человека западной полосы, — писал латыш Вацетис. — У казачества нет заслуг перед русским народом и государством. У казачества есть заслуги лишь перед тёмными силами русизма. По своей военной подготовке казачество не отличалось способностью к полезным боевым действиям”.

И это говорил сам недавний инородец Вацетис, по сути дела, оспаривая высказывание великого Льва Толстого о том, что “казаки создали Россию”.

Но вернёмся к активному соратнику Свердлова Загорскому, который, надо полагать, относился к казакам так же, как автор директивы о расказачивании. Последние годы эмиграции он жил в Германии. Там был интернирован. Когда произошла Февральская революция, освобождён и первым бросился срывать флаг Российской империи с русского посольства. После Октябрьской революции, или, как её долго называли, октябрьского переворота, был назначен представителем советской России в Германии, то есть послом.

В 1918 году дела у большевиков были крайне плохие. Мне Иван Михайлович Гронский рассказывал, что от партии большевистской откачнулись сотни тысяч рабочих из-за жестокости лидеров и проводимой ею политики. Партия скукожилась и вся дрожала. Многие, и не только в народе, думали, что власть большевиков кончается. И не зря. Лидеры революции уже готовились бежать. Тем более, что многим из них было где скрыться. Родственник того же Троцкого (Бронштейна), американский банкир, снабдивший Льва Давидовича крупной суммой денег для организации в России революции, приютил бы, конечно, Троцкого в случае грозившей тому опасности. И другие нашли бы куда убежать, ибо какое подполье в залитой кровью России, когда жестокость этих людей узнали миллионы! Поэтому партии нужен был каждый поддерживающий её человек. Особенно на руководящей должности. По предложению Свердлова Загорский был кооптирован, даже не избран, как полагалось, а просто назначен секретарём Московского горкома партии. Причём, у Ленина было правило: когда кто-то кого-то рекомендовал, он спрашивал: знаете ли вы его лично? Ну, Свердлову что было говорить? Конечно, он знал Загорского лично. Таким образом, тот в июле 1918 года стал первым секретарём МГК. А в сентябре 1919 года анархисты бросили бомбу в помещение, где шло заседание Московского горкома партии.

Прошло 11 лет, и в 1930 году вдруг какие-то “трудящиеся” вспомнили Загорского. Всё это, как любит говорить нынешний известный политик, чушь собачья. Спросите сегодня, кто возглавлял правительство России лет 20 назад. Не горком, а правительство страны! Дай Бог, чтобы из тысячи вспомнил один. А в то бурное время имена мелькали, как карты в руках у шулера. Поэтому “трудящихся”-переименователей надо искать в московской партийной верхушке. Именно эти люди решили увековечить имя своего человека, убрав даже упоминание о Святом Сергии Радонежском. Одно имя заменило другое. Только величины в истории российской несравнимые. Муха и слон.

Когда я всё это узнал, то написал и опубликовал в “Известиях” в 1986 году статью “Истории единая река”. В ней шла речь о необходимости уважать историю страны. Я говорил о том, что у многих народов является традицией бережно относиться к своему прошлому, сохранять имена выдающихся людей не только в печатно-изустной памяти, но и в названиях, как бы ни происходили социально-политические изменения. И только у нас был период, когда прошлому была объявлена война на его полное уничтожение. Я имел в виду начавшееся после революции повальное переименование городов и посёлков, присвоение заводам и фабрикам имён людей, которых вскоре никто не мог вспомнить, типа Сакко и Ванцетти, Клары Цеткин и Розы Люксембург. В то время ещё нельзя было критически написать (1986 год!) о непомерно раздутым желаним вождей революции оставить свои имена в названиях городов. Так, знаменитую Гатчину в 1923 году называли Троцком, был город Зиновьевск, потом старинную Самару переименовали в Куйбышев, ещё более древнюю Тверь – в Калинин. И уж совсем недопустимо было, после хрущёвской лжи о том, что Сталин “воевал по глобусу”, что угрозами заставил переименовать Царицын в Сталинград, приводить другие сведения. А они были. Причём, абсолютно опровергающие ложь.

Весной и летом 1918 года советская власть в России, как известно, висела на волоске. Кольцо фронтов сжимало центр страны, отрезав его от продовольственных и энергетических районов. Войска генерала Краснова подходили к Царицыну. Взяв его, белые получали стратегический плацдарм для наступления на Москву и окончательного удушения советской власти. Сталин так организовал оборону города, что он стал неприступным.

Одним из участников обороны Царицына был Сергей Константинович Минин, член большевистской партии с 1905 года. Когда покатилась волна переименований, Минин работал ректором Коммунистического университета. Недолго размышляя, он в 1924 году предложил Царицынскому губкому партии переименовать город в Мининград. На том основании, что и в обороне Царицына участвовал, и был уроженцем здешних мест. Однако губком предложение самовыдвиженца не поддержал. Вместо этого решил назвать город Сталинградом.

Это предложение, как сообщает в “Военно-историческом журнале” автор статьи под ником “Суровый Енот” (вот уж безобразие: скорее всего, приличный человек, а прячется, как трус, под какой-то собачьей кличкой!), вызвало бурный энтузиазм. Сталину послали приглашение приехать на съезд Советов местных депутатов, чтобы на нём объявить о переименовании города. Но Сталин не поехал. В рассекреченном ответе секретарю губкома партии Борису Шеболдаеву от 21 января 1925 года Сталин сказал: “Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград. Дело это начато без меня и помимо меня”. Как пишет автор статьи, Сталин посоветовал царицынским коммунистам переименовать город в Мининград. “Либо, если уж слишком раззвонили насчёт Сталинграда, то не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде Советов”. Сталин не хотел, чтобы у народа создалось впечатление, что это он добивается переименования города в свою честь.

Эпизод, надо сказать, характерный для Сталина. Когда заканчивалось строительство нового высотного здания Московского университета, угодники типа Хрущёва и ему подобных (помните подпись под телеграммой Сталину первого секретаря ЦК Компартии Украины с просьбой разрешить увеличить число “врагов народа”, количество которых резко сокращает Центр: “Любящий Вас Хрущёв?”), так вот, холуи настойчиво предлагали назвать университет именем Сталина. Но тот резко отказался. “У нас есть великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Его имя должен носить университет”.

Конечно, что-то я тогда не знал, что-то не пропустила бы цензура: она ещё неколебимо стояла на идеологическом посту. Но через некоторое время я снова обратился к теме Загорска.

Не могу сказать, что только мои публикации привели в движение силы, очень недовольные тем, что именем случайного человека в названии города вытолкнули имя того, кто этот город, по сути дела, основал. А среди этих сил было много достойных людей. Таких, как знаменитый скульптор Вячеслав Клыков, автор памятника Сергию Радонежскому, известный тележурналист Александр Крутов, депутаты Загорского городского Совета. Но газетные публикации усилили их позиции. В начале осени 1991 года в Загорском городском Совете народных депутатов окончательно вызрела идея о переименовании города. Вопрос был только в одном: каким способом это сделать? Референдумом или решением народных депутатов? Выбрали второй вариант. 2 сентября 1991 года на сессии городского Совета разгорелась дискуссия. “Станем ли мы культурней и духовней, если изменим имя города?” (депутат Баскаков), “Если не будем уважать историю, не будем глядеть в будущее с оптимизмом. Человек без памяти, что перекасти-поле” (депутат Резухин), “Мы решаем чисто нравственный вопрос. Революционный зуд – это не то, что совершается сейчас, а то, что произошло в 30-м году. Если примем это решение, положим ему конец. Когда-то надо извиняться” (депутат Ольбинский).

При поимённом голосовании: “за” – 82, 25 – “против”, 12 воздержалось – депутаты Совета вернули городу его исконное имя: Сергиев Посад. Имя Святого Сергия Радонежского. А 23 сентября Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил этот факт.

Примечательно, что тем же решением верховной власти России с карты страны было стёрто имя Свердлова из названия столицы Урала. Свердловск снова стал Екатеринбургом. К сожалению, оно, осталось в наименовании области, породив двусмысленность и напоминание о кровавом геноциде.

(Продолжение следует)